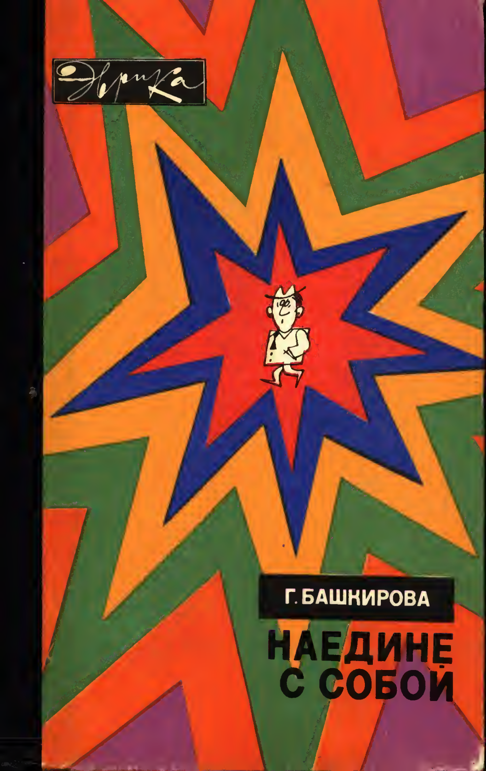
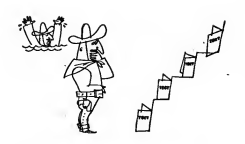
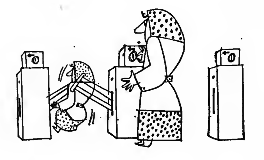

Эврика
Г. БАШКИРОВА
НАЕДИНЕ С СОБОЙ



Г. БАШКИРОВА

НАЕДИНЕ С СОБОЙ

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1975

15
Б33

Художник **Ю. Аратовский**

Башкирова Г. Б.

Б33 Наедине с собой. Издание третье. М., «Молодая гвардия», 1975.

208 с. с ил. (Эврика).

Что мы знаем о себе, о секретах собственной психики? До конца ли мы реализуем возможности, отпущенные нам природой?
Можем ли мы научиться прогнозировать свое поведение в горе и в радости? А в катастрофе, в аварии, наконец, просто на экзамене? А что нам известно о том, как формировался в веках психический склад личности? О том, что такое стресс и как изучают его психологи?
О поисках и надеждах, удачах и сомнениях молодых советских психологов, о прошлом и будущем науки о человеке рассказывает эта книга.

Б $\frac{60200-065}{078(02)-75}$ 100—75 15

ОТ АВТОРА

«Если бы на небе исчезли звезды, интересно, какой бы стала психология людей?» — спросил один писатель. И сам себе ответил: «Наверное, немного другой».

Звезды сопутствовали человеку на протяжении всей его жизни. Без них странно, без них страшно. Без них мы в самом деле стали бы в чем-то другими. А может быть, уже стали? Из жизни жителя большого города звезды исчезли с появлением уличного освещения. Встречи с ними случайны и пугающи. Чем отличается психология бухгалтера от психологии геолога, и какую роль в этом играют звезды?

Ну а если исчезнут не звезды, а ставшие для нас столь же привычными телефон, железные дороги, самолет?

Мы живем в мире, где все время что-то меняется, где, вытесняя привычное, все время рождается новое — новые виды транспорта, новые способы коммуникаций. Как это происходит в психике человека: встреча с новым, прощание со старым? Мы же не просто утилитарно используем достижения научно-технической революции: мы живем и работаем в этом непрестанно меняющемся мире.

...Человеку трудно успевать осмысливать перемены, которые несет с собой научно-технический прогресс. Попробуй осмысли! Приблизительно раз в десять лет век, в котором мы живем, меняет свое название: век радиоэлектроники, век кибернетики, век атомной энергии, век биологии, век освоения космоса. Название века как бы предупреждает: именно здесь происходит сейчас самое значительное, именно сюда следует направить молодые и энергичные силы.

Наука неутомимо разгадывает тайны. Раскрываясь, тайны начинают нам служить, приносят комфорт, но почему-то не сообщают ощущения всемогущества. Наоборот, лишний раз убеждают: об окружающем нас мире мы успели узнать гораздо больше, чем о самих себе, — ощущение, пришедшее к человечеству только в

XX веке. (Может быть, за одно это стоит быть благодарным науке.)

Это XX век со всей ясностью обнаружил, что мир человеческой души не напоминает собой часовой механизм. Это XX век отказался от детерминизма в толковании человеческих поступков. Люди с удивлением узнали о себе множество вещей, непонятных рациональному сознанию XIX века. Из огня XX века люди вынесли алогичное, казалось бы, убеждение, что огонь не всесилен, что есть идеи, побеждающие смерть.

...Мы так любим охотиться за тайнами: частицы, античастицы, разбегающиеся галактики, дрейфующие материки...

Главную тайну мы задеваем плечом, когда садимся утром в автобус.



Глава первая

НАМ НУЖЕН КОММУТАТОР

ЛЬВОВ — ЗАПАД, МАЛЫЙ КРУГ

Каждое утро ровно в восемь Лев Сергеевич заводил одну и ту же пластинку. Раз, другой, третий, на полную мощность радиолы «Эстония». Мужественный баритон перекрывал шум соседнего кузнечного цеха и гудки проходящих тепловозов. А мы спали, делали вид, что спали. Тогда Лев Сергеевич выключал музыку и деликатно стучал по очереди в каждую дверь. В ответ недовольно поскрипывали полки. И все-таки без четверти девять мы были в салоне, уже умытые, еще голодные, но в белых халатах.

Без десяти девять приходил первый машинист. Без пяти — второй. Один сразу попадал в руки лаборантки Люды. Она уводила его на «бегущую ленту», прилаживала на руках и ногах электроды, подставляла скамеечку. Второго машиниста усаживали в моем купе. Там стояли два письменных стола, магнитофон и жестяные «эмоциональные» таблицы. Таблицы были прикрыты аккуратными занавесочками. В моем купе шли эксперименты на эмоциональную устойчивость.

В десять приходил первый диспетчер. Он сидел в салоне и играл в игру «Пять».

Кончалось все это поздно. Последний испытуемый уходил в десять часов вечера. И тогда становилось совсем тихо. Остро пахло мазутом, остывающим металлом, рельсами. Пахло дорогой. И еще борщом с фасолью: проводник Алексей Ефимыч варил его каждый день.

Вот уже неделю вагон стоял в депо Львов — Запад возле малого поворотного круга, куда сходятся рельсы из разных цехов. Локомотив приходит на круг, а потом его поворачивают и загоняют на ремонт куда нужно.

В депо душно, но под солнцем было бы еще хуже; зато здесь рядом буфет, душ и все необходимое. Вагон наш красивый, брусничного цвета, и по бруснике золотом буквы: «Вагон-лаборатория, ВНИИЖГ».

Но почему вдруг вагон? Почему не тихая жизнь, как во всех психологических лабораториях?

* * *

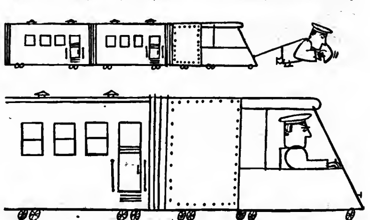
Мы въезжали прямо в солнце. Только что был Чоп и замок на горе возле Мукачева, а в замке том не му-

зей, не отель, а школа юных механизаторов. В этот предзакатный час в глубине огромного двора, где во времена былые укрывалось все население города, сидит с самодельным мольбертом мальчик (вчера он там был, и позавчера, и показывал мне свои работы), сидит и рисует эти, такие жестко-суровые отсюда, из окна локомотива, стены, эту пустынность. Замок промелькнул и исчез. И снова поплыло ухоженное, обжитое Закарпатье.

Только что все это было. А сейчас лицо у машиниста такое, как будто он и есть электровоз, как будто он один тащит на себе в гору все четырнадцать вагонов. Вверх, вверх к перевалу взбирается состав, а тут еще встречный ветер, и лишь недавно прошел ливень, и на лбу у Георгия Георгиевича испарина, и он совсем не шутит и не объясняет мне ничего. И вот уже нас подцепили к тепловозу (одному локомотиву не справиться с такой высотой), и дым разъедает глаза.

Внезапная темнота знаменитых карпатских тоннелей, и вот «Слушайте, сейчас будет толчок!» — и мы уже падаем вниз, и сердце тоже падает, и Георгий Георгиевич с помощником Игорем улыбаются, глядя на мою растерянную физиономию: «А ну-ка посмотрим, какая погода по эту сторону Карпат», — и ручьи, которые текли нам навстречу, уже бегут прочь, вниз, и совсем другие цветы, и совсем другие деревья, и дикие голуби, горлинки, взлетают из-под колес.

«Вот здесь, нет, нет, на том склоне, зимой живут



олени. Почему? Да волков они боятся, жмутся к человеку, к дороге». И ржавые поля, маки цветут.

А солнце все ниже. «Нет, на закате не хочется спать, а вот когда солнце всходит и вокруг мягкий такой, знаете, свет, рельсы сливаются, вот тогда — хоть плачь! — клонит ко сну».

Скорый поезд стремительно спускается в долину, и столь же стремительно меняются краски вокруг: из сплошного окна локомотива видно все так, как никогда не дано увидеть простому человеку, если он не машинист. Но ему не дано увидеть другое: кусок грохочущей цивилизации на фоне карпатских идиллий.

Каждые полторы минуты — резкий высокий сигнал-предупреждение: «Не спи, не спи!» («Похоже на бандитский посвист, правда? Как ни привык, а ночью все равно вздрагиваю, словно кто-то с ножом из-за угла».) Если машинист через семь секунд не нажмет на ручку сигнала, значит, заснул, срабатывает автостоп. И все время длинные предупреждающие гудки: дорога вьется меж гор, сплошные повороты.

И все время шипит телефон: говорят дежурные по станциям, чаще всего одну и ту же фразу: «Пропускаю с ходу по главному пути». Конечно, стараются с ходу и по главному — ведь мы экспресс: рейс от Чопа до Москвы расписан по минутам. Беспристрастный скоростемер не просто показывает скорость, он все пишет: на каком участке какая скорость, где завышена, где понижена, где задержка, где ошибка, и после каждого рейса — разбор по скоростемеру. А еще по телефону говорят с нами машинисты проходящих поездов: «Десятка! У вас все в порядке!» — «У вас тоже». — «Привет!» — «Привет!»

Каждый раз надо встать, чтобы взять трубку телефона, сорок раз — сорок — в час подняться и нажать на свисток, надо еще бессчетное количество раз высунуться из окна (в любую погоду, в дождь, в метель) и оглядеть состав на повороте: не потерял ли вагоны, посмотреть, прошел ли границу станции, надо сползти по сиденью вниз, чтобы левой ногой нажать на рычаги управления. И еще надо не меньше ста раз в рейс поднять руку: «Не сплю и приветствую» — в ответ на такой же жест стрелочников, дежурных по станциям, машинистов — всех, кто встречает, помогает и прокладывает тебе путь. Этот знак — знак бдительности —

ввели психологи Львовской дороги. Больше он нигде не примят, а жаль: в нем столько человечности. Этот знак — символ принадлежности к тому миру, где все равны, где все усилия — и стрелочника с глухого полустанка, и классного машиниста-скоростника — важны и равноправны, где все подчинено одиому: быстроте и безопасности движения.

Но разговоры, свистки, гудки — все это не главное, это только дополнительная информация типа: «Да, ты прав». Главное не это. Главное — дорога. Дорога — собеседник, партнер, с дорогой идет бесконечный, безмолвный диалог, где нет ни одного лишнего слова, ни одного сигнала, на который не надо было бы мгновенно ответить так или иначе. На дороге каждую третью минуту знак о том, каков будет следующий, каждую десятую — знак чрезвычайной важности, от которого зависит жизнь твоя и всех, кого везешь.

«Знаете, когда такой состав, как сейчас, скорый, по 24 человека в вагоне, помножьте на четырнадцать, глупо, конечно, какой тут может быть счет: все одно — жизнь, но все-таки легче на душе. А если пассажирский, да местный, да битком, да на каждой остановке стоим, и все под колеса кидаются, вот тогда — да! Приезжаешь домой, все газеты прочтешь, которые пропустил, когда в рейсе был, все карикатуры в журналах посмотришь, а сна нет».

— Георгий Георгиевич, а не надоело?

— Мне? Нет. Ездить хорошо.

— Что хорошего? И днем, и ночью, и семью не видите, и праздников нет.

— Правильно вы все говорите. Все вам уже рассказали. Вот и Игорь, мой помощник, тоже уходить хочет. Да, Игорь? «Я, — говорит, — молодой, я, — говорит, — из-за дороги жизни не вижу». Дорога, конечно, отнимает много, что уж тут скрывать. Но, понимаете, это, конечно, не для всякого — она дает тоже.

Что дает? Перемены. Все меняется. И вокруг все меняется, и у нас все меняется: паровозы, тепловозы, теперь вот электровоз.

* * *

— Лев Сергеевич, Георгий Георгиевич Поваров у вас в списках есть?

— Машннист нлн диспетчер?
— Машиннст, я с ним из Чопа возвращалась.
— Ну и как он, этот Поваров?
— Хорошо!
— Надо будет вызвать, посмотрим еще.
— Нет, лучше не надо. Жалко его.
— А нас вам не жалко?

Коиечно, мне нх жалко, Льва Сергеевнча и его помощников. Длительный психологический экспернмент — это тяжкое дело, тяжкое и для испытуемых, н для экспериментаторов. Это четыре-пять часов иапряженной работы. Взмыленный машнннст уходит после опыта домой отдыхать. В вагон точно по расписанию приходит следующий.

Все как будто просто. В темном купе стонт аппарат «Бегущая леита». Двнжется прнкрепленная на двух валнках леита, а иа ией прямоугольннкн и квадраты, дорога уходит вверх, лента бежит вниз, а по бокам с двух сторон иечто вроде иасыпн. Машннист считает квадраты н нажнмает на кнопку при появлеиин каждого десятого. Этот десятый появляется раз в трн мииуты, как знак на дороге. А еще в начале «дороги», откуда выныривают квадраты, так похожие на прямоугольники (поди тут не ошибись!), беспорядочно вспыхивают сигналы: зеленые, желтые, а после желтого обязательио через какой-то иеопределенный срок — красный. И вот когда будет красиый (красный, а ие желтый предупреждающий), надо как можно скорей нажать на кнопку правой рукой. Красный мелькает тоже как серьезный знак иа дороге раз в десять мннут. Вот н все.

Но надо сидеть н считать. И не отвлекаться. И не заснуть. А лента движется так монотонно, и шум, чуть похожий на шум мотора, как шорох лнстьев, н темнота еще, н мысли всякне, а потом и мыслей нет — сплошиое мелькание. Так был сигнал нлн не был?..

Похожа лн «Бегущая леита» на дорогу? Это не нмитация. Это модель. Модель — значит, иа ней можно испытывать каждого. Можно сидеть у «Бегущей ленты», считать, старательно иажимать на кнопки. Для этого не нужно быть машинистом. Но чтобы не сбиться ни разу, надо быть машиннстом. Даже диспетчеры, железиые, натренированиые людн, прнвыкшне к напряженнейшнм снтуациям, и те «работают» на ленте хуже машиннстов. Значит, установка удачна, раз она выявляет особые,

только одной профессии свойственные психические качества.

А в салоне во время опыта идет запись на электроэнцефалографе сразу по трем каналам. Пульс на руке. Кожно-гальванический рефлекс: влажность кожи меняется у всех по-разному, когда человек реагирует на сигнал. И наконец, биопотенциал: напряжение мышцы на правой руке, которая работает, когда палец нажимает на кнопку.

Зачем все это? Зачем эти черточки пульса — шире, уже? «Смотрите, как нервничает, а с виду спокойный. Ну вот, выровнялся, адаптировался». Зачем плавные, мягкие, вздымающиеся вдруг волны, изобличающие беспокойство кожи, и готические зубцы биопотенциалов?

Это плата организма за один-единственный сигнал. От него ничего не зависит: ни жизнь, ни работа, но человек платит. Так он устроен. Платит без конца.

Каждый платит по-разному. У одного после желтого сигнала в ожидании красного начинается «энцефалографическая» буря, другой только слегка волнуется. И при этом оба сигнал не пропускают. Вот почему испытуемый может ни разу не сбиться и тем не менее вызвать самые серьезные опасения у психологов: если он платит так дорого только за ожидание или, как говорят психологи, за готовность в условиях опыта, то что же с ним случится в дороге?

* * *

«Бегущей ленте» много-много лет. На заре века придумал ее известный немецкий психолог Гуго Мюнстерберг. Одним из первых заинтересовался он вопросами психологии труда: на ленте исследовали вагоновожатых. Без энцефалографов, разумеется, и без новейших методов математической обработки результатов; смотрели на глазок: у кого получается, у кого нет.

Непонятно было, в каком направлении вести эксперимент, но ясно было одно: на дорогах гибнут люди из-за ошибок машинистов. Почему они ошибаются? Какими особыми психическими свойствами должен обладать человек, чтобы ошибаться меньше, чем ошибаются в среднем обыкновенные люди? Очевидно, выражаясь профессиональным языком, повышенной скоростью ре-

акцнн, способностью выдерживать длнтельные моиотонные воздействия, готовиостью в любой момент к экстреиному действию, уменнем быстро сопоставить десятки разнородиых сведений...

Книгн Гуго Мюнстерберга стоят у меня на полке... Пожелтевшая плохая бумага, издаиия 20-х годов. Его труды недаром так оперативно переводились в молодой Советской республнке. В 20-е годы советские психологи вели широкие исследоваиия в областн психологии труда. Изучалнсь психологические особеиности профессий, составлялись «профессиограммы», «розы профессий» — перечеиь качеств, необходимых для той или ниой деятельиостн.

Это былн поразительиые годы, вошедшие в нсторию не только отечественой, ио и мировой психологической науки, годы, полиые высокого бескорыстия, романтической увлеченности, отчаяииой, почти болезиеиной жажды стать иеобходимыми, полезными, стремлеиия приспособить высокую иауку к нуждам разореииой, иищей, отсталой страиы, дерзнувшей строить новое общество. В стране, которая только-только стаиовилась иа иоги, психологи пытались помочь производству.

Несколько лет назад вышли два тома статей по псндологин труда — сборники работ, затеряииых в старых журналах, в личиых архивах, в трудах конференций. Это два иебольшнх томика, где пснхологическая характернстнка професснн шофера соседствует с анализом работы сталевара, и тут же статья, как рациональио работать землекопам.

* * *

Сорок лет прошло с той поры. Научные выводы в этих старых отчетах кажутся сегодия наивиыми и беспомощиыми. Но на всем печать времени. И поход психологов в профессии (чтобы дать рекомендации, ученые считалн необходнмым нспытать все иа себе), н грандиозность замыслов: попыткн коиструировать иовые профессии, шнрокие связи со смежиыми, как бы мы теперь сказали, наукамн — медициной, бнологией, и пристальиый нитерес к личиости, к возможиостям ее самовыражения в главиом — в труде.

Разиые периоды прошла с тех пор производствен-

ная пснхология. Одио время казалось, что психолог на пронзводстве не так уж нужен. Каждый день возвещал о новых победах техники. Советы психологов, как поворачнвать лопату, когда копаешь землю, могли вызвать только улыбку: появилнсь мощные экскаваторы. «Розы профессий» увяли, нсчезли сами профессин, в нзученне которых вложили столько снл, надежд и замыслов первые поколения советских психологов.

Но, страиное дело, иадежность техннки возрастала, пронзводство автоматизировалось, а человек... Человек становился грозной проблемой. «Человеческнй фактор» заявнл о себе совсем по-иовому. Не о повышеиии пронзводительиости труда только, как в 30-е годы, шла речь — о зависимостн ианавтоматизированнейшей техники от человека.

Те же проблемы пришли на транспорт. Резко возросла безопасность двнжения. Резко повысились скорости. Но то, что волиовало первых пснхологов еще в начале века, то, над чем бились советскне психотехинки... Вндоизменившись, проблемы эти приобрели еще большую остроту.

Кажется, предусмотреио почти все; почти все мыслимое и немыслимое сделано, чтобы двнжение стало безопасным. В современном локомотнве около восьми тысяч деталей. Перед рейсом его осматривают, обстукивают, готовят не меньше десяти человек, целые цехи заняты профнлактнкой. Сложиость техиики такова, что почти все машннисты-скоростиики — иинженеры, ниаче ездить нельзя. Все предусмотрено. Нельзя предусмотреть только одного — самого человека, его реакцию на опасность.

* * *

— Лев Сергеевнч, правда, зачем вы все ездите и ездите? Ведь и в Москве люди есть. И просто людн, и машиннсты.

Лев Сергеевич нервнннчает. Ои всегда медлеиио остывает после экспериметов. Ходит мрачный по салону, думает. Самое время задавать вопросы.

И заведующнй лабораторией Лев Сергеевнч Нерсесяи начннает без теин раздражеиия объяснять:

— Вы же знаете: мы ездим, чтобы в итоге дать ре-

комендации. Да, стандартные, это очень важно. В современной психологии нет стандартов. Одни беспорядок. Разнобой. Значит, мы должны обследовать как можно больше машинистов по всей стране. В разных условиях, на разных дорогах.

Да, рекомендации по профотбору. Кому идти в машинисты, а кому цветочки в оранжереях поливать. А что, поливать цветы — это плохо? Я вообще говорю. Никого не обижаю.

Теперь об испытуемых. Зачем нам «просто люди»? Нам нужны профессионалы. Чтобы найти критерий. Чтобы было с чем сравнивать. Мы собираем все данные, обрабатываем, подставляем в общую формулу, получается нечто. Зачем нам это нечто, если нет способа проверить? Но он у нас есть. «Метод независимых характеристик». Он составляется с учетом авторитетности суждений. Допустим, в группе испытуемых тридцать машинистов. Каждый оценивает каждого. Даем им по одному баллу. Потом четыре инструктора — это начальство, которое их проверяет, — тоже по баллу. Начальник депо — два балла. Нарядчик — полбалла. Выводим среднюю оценку. Ранжируем группу: хорошие — плохие. Ранжируем наши данные. Сравниваем. Совпадает. Значит, эксперимент на правильном пути.

Теперь дальше. Почему плохо, когда испытуемые — просто люди? Представьте, приходит к вам то Петя, то Вася, все разные, с улицы. Попробуй найди что-нибудь. А у нас машинисты. Заняты одним делом. Мы знаем, что ищем.

А какие у нас испытуемые! — Тут Лев Сергеевич заметно оживляется: это его любимая тема. — Золото! Изумительные! Один в один! Так у психологов не бывает.

— Что не бывает?

— Чтобы испытуемых за руки с улицы не тащить: пожалуйста, христа ради, для науки... А чтоб они сами приходили, да еще летом, в душный вагон, да еще в свой выходной день. Чувство ответственности у этой профессии развито. Понимаете?

Говорят: личность. Ищут все личность: «Ах, личность! Где она? Какая она?» Охи, вздохи... Мы личность специально не ищем. Но нам от нее никуда не деться. Она в основе всего. Мы не теоретики. Мы практики. У всех исследований прямой выход. Нашли,

проверили, передали производству. Потом задача вернулась на доработку. Мы экспериментаторы.

Теперь отбор. Это тонкое дело. Вы подумайте. Человек может тридцать лет ездить — и вдруг наезд, авария. «Почему, откуда? Он такой опытный машинист».

Можно было предсказать эту аварию тридцать лет назад, когда он шел в машинисты? Мы считаем — можно. Но мы не знаем, когда она случится. Пусть накоплен опыт, пусть есть автоматический навык, все есть... Но вот стресс, и все летит вдребезги, летит хорошо натренированный навык и с ним сотни жизней...

Был здесь недавно такой случай. Это же Карпаты. Упало на рельсы дерево с гор, бревно. Один выключает мотор и сыплет песок, другой может выпрыгнуть из кабины, убежать в конец локомотива — черт знает что натворит! — и состав под откос.

Почему? На этот вопрос наука пока не отвечает, но вероятности предсказывать мы уже можем. Мы только не беремся сказать когда.

— Что когда?

— Когда человек сорвется. Может и не сорваться, миновать в жизни «свое бревно». Был у нас на одной дороге машинист, ас, скоростник. Кончил один институт, учился в другом. Молодой, красивый, ездить любил. На ленте на монотонность работал превосходно. А на эмоциональную устойчивость — никуда!

...Испытание на эмоциональную устойчивость или тест «отыскивание чисел с переключением» проводится в моем купе. Это таблицы. На них черные и красные цифры вперемежку, в случайных сочетаниях, от 1 до 25. Надо называть цифры — черные в прямом, красные в обратном порядке. Попеременно. А тут еще в середине опыта незаметно включают магнитофон. Магнитофонный голос пересчитывает те же цифры: медленно, нудно, навязывая свою скорость, отвлекая.

Два человека проводят этот эксперимент: один ведет протокол, другой измеряет время реакции, отмечает ошибки. Простой опыт, но он помогает многое разглядеть в человеке.

— Так вот. Машинист этот на таблицах сбивался, нервничал. Что, думаю, такое? По оценке депо он один из лучших. Нашел предлог, прихожу к нему перед рейсом. Батюшки! Крик, шум из-за пустяка. Все ясно: долго не проездит. А дорогу любит.

— Лев Сергеевич, а может, он сам в себе чувствовал эту неустойчивость, потому и любил дорогу, дорогой ее в себе истреблял?

— Все может быть, но зачем за счет других? Списывать его надо было, а жалко! Пожалели. Через полгода — наезд. Пришлось снимать. Понимаете, это момент, это стресс!

НАМ НУЖЕН КОММУТАТОР

Я не случайно начала с железнодорожных стрессов. Прежде чем повести разговор об особенностях человеческой психики, о тех проблемах, что возникают у нас при общении с другими людьми, о попытках понять себя, свое «я», следует, наверное, попробовать представить себе ситуацию, в которую поставлен человек развитием научно-технического прогресса.

Вещи, которые нас окружают. Наша работа. Наш дом. Наш транспорт. Словом, все, что дарит нам научно-техническая революция и что требует взамен.

Мы начали с железной дороги. Давайте посмотрим на нее немного другими глазами. Не глазами психолога, для него вот уже несколько десятилетий подряд кабина машиниста — удачный естественный эксперимент. Не глазами железнодорожного диспетчера, задыхающегося от разнообразия сведений и вынужденного принимать решения в «условиях острого дефицита времени», как сказал бы тот же психолог. Глазами пассажира. Обыкновенного человека второй половины XX века. Что же мы увидим? Сложный и опасный, привлекательный, как всякое замкнутое сообщество со своими корпоративными законами, мир этот для нас, пассажиров, уже уходит в прошлое. Не буквально, конечно, чисто психологически.

Тут, пожалуй, стоит вспомнить русскую литературу. В ней много ситуаций, связанных с железной дорогой. «Анна Каренина», «дьявол-паровоз» в очерках Глеба Успенского, чеховские мужики. Железная дорога — невероятное событие, пышущее жаром, силой и медной мощью. Всесокрушающее.

Как никто другой, любил в начале века описывать железную дорогу Иван Бунин. Вокзалы, сумрак станционного зала, заснеженные платформы. Поэзия умираю-

щего дворянства, поэзия последних в роду сталкивалась в его рассказах с поэзией новых скоростей, нового обихода жизни. Железная дорога — символ наступления иных, индустриальных времен; и под стук колес договаривали, горько сожалея о минувшем, люди, которым вскоре предстояло сойти со сцены.

Потом был Андрей Платонов, поэт железной дороги, писатель из семьи наследственных машинистов. Дорога для него — прекрасный и яростный мир, по своей наполненности и динамизму родственный тому, что происходит в послереволюционной России.

А что такое железная дорога для нас? Для передвижения есть теперь сверхзвуковой самолет. В командировке, в спешке, мы предпочитаем лететь, а не ехать. Без самолета уже не обойтись, настолько прочно включен он в систему массовых коммуникаций. Самолет — необходимость. А поезд? Для городского жителя поезд давно уже не кусок грохочущей цивилизации. Наоборот, мы сбегаем от цивилизации в вагон поезда. Мы ведь не знаем, что происходит в кабине машиниста, мы руководствуемся собственными психологическими ощущениями, и они безобманы: железная дорога — это отдых, пауза, шанс на передышку.

Что такое полет на сверхзвуковом самолете, совсем недолгий, часа три-четыре? Это расстояние в полконтинента, перелет из Азии в Европу. Иногда прилетаешь почти в тот же час, когда вылетел; время таинственно трансформируется. В полете земли не видно: исчезает ощущение пространства, движения. Исчезает возможность приспособиться к новой среде, к разнице в климате, к разнице во времени.

Человеческому организму нужен мост для перехода из одного состояния в другое. Моста нет. Мост взорван сверхзвуком. И пожалуй, самое главное: любая поездка — это «уезд» от самого себя. Уезжая, оставляешь дома часть забот и волнений. В этом вечная прелесть путешествий, это придает им не заменяемые ничем другим легкость и освобождение. При сверхскоростях ничего не успеваешь оставить — все берешь с собой. В воздушном путешествии продолжаются те напряжения и ритмы, из которых втайне мечтал вырваться.

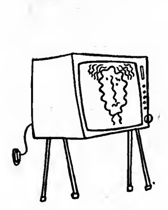
Свои ритмы навязывают машины, с которыми мы сталкиваемся на работе: станки, автоматические линии конвейера, тракторы, экскаваторы. Свои ритмы навя-

зывает транспорт, когда мы выходим за ворота проходной. А потом мы вертим колесико приемника или рычажок телевизора, и они предлагают свою скорость восприятия.

...Лет пятнадцать назад вспыхнула дискуссия, нашедшая наиболее полное выражение в научной фантастике: человек и машина, кто умнее, кто победит? Словом, нашествие мира вещей на мир людей. Роботы и машинные цивилизации отправляли, разумеется, на далекие планеты, но было ясно, что речь идет о нас, о путях развития технического прогресса.

Прошло совсем немного времени, и страсти утихли; научно-популярные журналы уже неохотно печатают рассказы о роботах: «Банальный сюжет, уж лучше пришельцы», и спор о том, кто умнее, стал совсем вялым, скучным. В чем же дело? Просто схлынула мода? А может быть, то, что казалось нам грозной и неуправляемой силой, незаметно входит в нашу жизнь — штрихом, намеком, неприметной деталью. Чувствующий человек и изобилие бесчувственных вещей. Чувствующий человек и «думающие машины». Ну, пусть еще не думающие, но активно влияющие на наши решения, на наше настроение самим фактом своего существования.

Человек и окружающие его приборы — это тысячи мелких психологических конфликтов, не вошедшие в учебники психологии, не читаемые в университетских курсах. Конфликты, с которыми сталкиваются наиболее вдумчивые и наблюдательные психологи, психиатры, ин-





жеиеры. «Конфликт человека с автоматом», — сформулировал суть этой проблемы известный психолог-экспериментатор профессор Федор Дмитриевич Горбов.

Формулировка эта родилась так. В авиационный госпиталь был доставлен в довольно тяжелом состоянии молодой летчик. Летчик не выполнил в воздухе боевой приказ, уверяя, что по показаниям прибора он не должен был его выполнять. Может быть, прибор неисправен? Проверили: на земле прибор работал прекрасно. В воздухе же та же история повторилась несколько раз. Летчик перестал доверять прибору. Едва сев в самолет, летчик начинал грозить прибору, умолять, заклинать — ничего не помогало! Кончилось все тяжелым стрессовым состоянием и госпиталем: поверили не ему — прибору.

(Это было закономерно. В воздухе гораздо чаще отказывают не приборы, а живой человек. У летчика при сверхзвуковых скоростях появляются самые разные иллюзии — пространственные, временные, зрительные. В острые моменты он сам склонен чаще доверять не себе, а технике.)

Нужно было обладать незаурядной независимостью мышления, чтобы поступить так, как это сделал Горбов. Когда необычный пациент попал к Федору Дмитриевичу, профессор попросил поднять прибор в барокамере на высоту двух тысяч метров, на которой происходили все неприятности. На высоте прибор не работал.

...На каждом шагу, сами того не замечая, мы вступаем в конфликтные отношения с миром техники. Мы звоним из автомата и в досаде бьем по аппарату кулаком, если он не включается. Как норовистую кобылку, похлопываем телевизор, чтобы улучшилось изображение, трясем транзистор в поисках нужной волны. Каждый, кто имеет дело с автоматом, знает: он любит капризничать, и чем машина сложней, тем непредсказуемей она себя ведет.

Больше того, многие техники убеждены, что машины по-своему откликаются на поведение и характер людей. В 20-е годы жил и работал в Германии физик-теоретик Паули. О его неумении обращаться с приборами ходили легенды. И приборы своеобразно мстили ученому: когда он появлялся в комнате экспериментаторов, установки моментально выходили из строя. Называлось это «Паули-эффект». «Паули-эффект» — это приход человека, чья нескладность не одобряет машина.

Широкое хождение в среде экспериментаторов имеет выражение «визит-эффект». Это уже почти официальный термин. В момент появления на пороге лаборатории начальства в установке начинаются неполадки. Машина отказывается участвовать в демонстрациях «для парада».

А разлуки с машиной? Сложные установки не прощают расставаний: «Любовь прощает все, кроме отсутствия». Исследователь уезжает в отпуск. Он выключает абсолютно исправную установку, закрывает ее чехлом, запечатывает комнату. Возвращается — установка не работает. Исключений из этого «синдрома разлуки» почти не бывает. Можно, конечно, разобрать установку по винтикам и гаечкам, можно попытаться поискать причину неполадок, но лучше оставить ее в покое: привыкнет, что вернулся, что не бросил, сама заработает.

Все это похоже на мистику, хотя ей, вероятно, когда-нибудь найдется научное объяснение. А как капризны машины при изменении погоды! Да, конечно, это утечка зарядов, это наводки, это сложные электрические процессы в атмосфере — объяснений множество. Но в повседневном общении с машиной разве это приходит в голову в первую очередь?

В 50-е годы в американских научных журналах всерьез писали о том, что большие машины неравнодушны к хорошеньким женщинам: при появлении женщин ЭВМ начинали нервничать. Вот это уже было совсем необъяснимо! Через несколько лет выяснилось, в чем дело. Женщины первыми в Америке начали носить синтетические вещи. Синтетика заряжала статическим электричеством. При близком контакте с машиной оно вызывало лишние импульсы. Но нужно было, чтобы эти несколько лет прошли, а пока на всякий случай в лаборатории со сложной вычислительной техникой под разными предлогами вообще не пускали женщин — и хорошеньких, и самых обыкновенных. Женщины портили машинам настроение.

И в это опять-таки легко было поверить, так как всякий опытный экспериментатор убежден: прибор не переносит плохого настроения, в лучшем случае он просто отказывается работать, чаще всего начинает врать. Почему — неизвестно. Но факт остается фактом. Непостижимо тесная связь устанавливается у прибора с исследователем. Сейчас, когда наука поставлена на поток,

когда почти все эксперименты ставятся бригадой, личные контакты ослабевают. Но там, где работа идет один на один, они все равно есть. И чем сложнее машина, тем глубже конфликт, который может между ними возникнуть. Каждое такое столкновение — это стресс. Общение со сложной машиной, со сложным пультом управления — это всегда накопление стрессов.

Но откуда эта мистика, откуда столь не простые отношения с кусками холодного металла? Мало ли сложностей у нас друг с другом, чтобы еще в машины вкладывать душу?..

Тысячелетиями человек очеловечивал все вокруг — природу, зверей, воду, дома. В доме жили домовые, в воде — русалки, в зверях — души умерших людей. Прежде чем вырыть из земли съедобный корень, североамериканские индейцы просили у него прощенья. Эскимосы наливали в глотку убитого тюленя немного пресной воды: ведь зверь дал себя убить только затем, чтобы напиться несоленой воды. Человек очеловечивал и то, что выходило из его рук, орудия труда. В контакт с вещью, в общение с ней он подсознательно вносил человеческое.

Как происходило общение человека с механизмом в прежние времена?

Машина старательно имитировала человека внешне. Потом техника перешла в область наивной бионики: поршни, рычаги, клапаны воспроизводили движения человеческих рук. Или же секреты были выставлены наружу. Механизм одной из первых машин, сыгравших выдающуюся роль в культуре и в формировании психического склада человека, — часов — был обнажен для зрителя. Любопытный горожанин какого-нибудь XV века мог увидеть, как поворачиваются колесики.

Часы, конечно, таили в себе загадку, но ее легко приписывали мастеру.

В средневековье часовщиков считали волшебниками и чародеями, таинственными людьми, обладавшими способностью влиять на души изготовленных ими предметов. Загадку, вероятно, таили в себе и волшебные линзы Левенгука, сквозь которые был впервые увиден микромир живого. Но что такое Левенгук? Одинокий чудак. Вещь, прибор, машина была рукотворна и явственно прикреплена к определенному человеку.

В XX веке все изменилось. Механизмы заключили

в оболочку безличного ящика. Машина потеряла свою понятность. Она утратила принцип открытого для всех действия.

Теперь мы видим только начало и результат действия. А остальное? Таинственный человечек — познанные силы природы, сидящие внутри машины, прежде были видимы и управляемы. Как, впрочем, управляемы были во всех наивных религиях древние боги. Люди льстили богам, приносили дары, наказывали, обижались. Античный человек, тот прямо-таки стравливал богов, интриговал с ними — одним словом, руководил. Так же как руководил, не выпуская из-под своего контроля, вещами. А что знаем об окружающих нас механизмах мы?

Тикающие часы — это понятно. Невидимый, неслышимый электрический ток, бегущий по проводам, — это непонятно. Пневматические двери в лифтах и электричках, турникеты в метро — это тоже непонятно. К ним нельзя привыкнуть, от них ждешь подвоха. Есть люди, которые бросают в турникет в метро по две пятикопеечные монеты, чтобы увеличить время и успеть пробежать. Если бы у турникетов была кнопка: человек бросил монетку, потом нажал на кнопку, приведя в действие механизм, — насколько было бы спокойнее!

Отношение к турникетам — традиционное отношение человека к автоматике. Она всегда внушала ужас, даже когда ее еще не было, когда человек только мечтал, чтобы за него все делали машины. Вспомним вол-



шебные сказки. Распахивающиеся двери, сами собой накрывающиеся столы — у сказочного героя подобные чудеса никогда не вызывали особого энтузиазма.

У Сергея Тимофеевича Аксакова есть сказка. Она знакома всем с детства — «Аленький цветочек». Героиня попадает во дворец, где все устроено с той мерой комфорта, который человечество довольно скоро сумеет себе создать. Героиня читает светящиеся надписи на стенах, «словеса огненные», ест на скатертях-самобранках, катается на колесницах без коней. И тоскует по живым людям: «Во всех палатах высоких нет ни души человеческой».

Если отбросить сюжет, действие рассказов Брэдбери происходит в той же обстановке: сказочные чудеса материализовались, юркие роботы, прячущиеся в стенах, делают то, что делали прежде волшебные силы. В рассказе «Будет ласковый дождь» сверхкомфортабельный дом гибнет из-за отсутствия человека: человек не пришел вовремя на помощь автоматическому уюту. В «Аленьком цветочке» ненужные чудеса рассеиваются и исчезают в ту минуту, когда торжествует любовь: механизированный рай оказывается ненужным и нечеловечным. Нужным становится безобразное чудище, пусть отдаленно, но похожее на человека. Живое.

Багров-внук, Аксаков, пересказывая сказку ключницы Палагеи, не подозревал, что в незатейливой форме поведал о вечных проблемах: о законах человеческого восприятия, о том, что происходит с психикой человека при неосмотрительном употреблении техники, о том, что реализованная мечта не всегда приносит счастье. Не об этом ли, в сущности, предупреждает нас все творчество Брэдбери?..

Человека все больше захватывает процесс автоматизации, все труднее представить ребенка, который бы в отсутствие родителей решился разобрать по винтикам телевизор, чтобы найти, где прячется изображение. Телевизор уже был, когда он родился. Это некая данность. И на телефон ребенок не смеет посягнуть. (Но он уже готов поменять автоматическую игрушку на светлячка, как это делает герой «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского: светлячок «живой и светится».)

В телефоне так же, как в турникете, заключена некая магия. Набираешь номер — слышишь голос. Телефон — вещь, отчужденная от нас, мы в ней не участву-

ем. Это в начале века надо было совершить некое действие, чтобы позвонить по телефону, надо было покрутить ручку, поговорить с телефонисткой. «Барышня, соедините скорее, я очень тороплюсь». Барышня что-то путала, соединяла не с тем абонентом, вы нервничали, приводили свои резоны, вы соучаствовали в процессе связи. Существовал промежуточный человеческий момент, телефон очеловечивался, действие теряло магический смысл.

Представьте себе дикаря, которому дали телефонную трубку, и он внезапно услышал голос приятеля. Ему стало бы страшно, правда? Но если голос приятеля вызвал стоящий рядом колдун, это, конечно, тоже таинственно, но не так страшно. Появилось связующее звено, коммутатор, это он взял на себя тайну.

У нас нет колдуна, ученого человека своего времени, творившего вполне научные для своего времени чудеса. Почти совсем исчезли и телефонистки. Мы вынуждены общаться с миром автоматов без коммутатора, без одушевляющего их начала. Хорошо сказал об этом Норберт Винер: «Силы машинного века вовсе не сверхъестественны, но все же они не укладываются в представления простого смертного о естественном порядке вещей».

Конечно же, это происходит не на сознательном уровне. Мы знаем, что такое электричество, мы смутно соображаем, как устроен телефон, и про телевизор, поднапрягшись, мы сумеем что-то вспомнить, мы собираем установки собственными руками. Мы твердо усвоили со школьной скамьи, что никакой мистики нет. То, что мистично, просто пока не познано. Мы знаем...

Но в общении с любыми автоматами это знание не помогает. Слишком за короткий срок вошли они в нашу жизнь. Психика человека едва успевает приспосабливаться к ним. Может быть, поэтому мы неосознанно ждем от машин действий, которых они никак не могут произвести.

Человек очеловечивал «первую природу». Попав внезапно — внезапно в перспективе тысячелетий — в окружение природы второй, он невольно перенес на нее груз прежних, не изжитых до конца страхов и опасений.

И вот психологи замечают: когда человек «выходит на машину», то есть идет считать свою задачу на ЭВМ, он норовит сделать это вдвоем, хотя вполне мог бы ра-

ботать один, — факт, широко известный каждому практику. Видимо, когда человек спорит с телефонисткой, когда его толкает локтем сосед по ЭВМ — это нужно, техника при этом очеловечивается.

И в машинном зале, где идет работа, где стоят ЭВМ, с подсознательной радостью встречают постороннего человека: завхоза, пришедшего приколачивать бирку на стул, библиотекаршу, прибежавшую требовать просроченную книжку, гостя из соседнего института, пристающего с вопросами.

Несколько лет назад я наблюдала поразившую меня картину: с машиной работал — точно, сухо, четко — известный математик. Рядом болтался его лаборант, существо растрепанное, нелепое, погруженное в себя. Лаборант мешал, активно мешал своему шефу.

— Как вы выдерживаете? — спросила я его.

— Видите ли, это трудно объяснить, но парень нам нужен.

Он и вправду был нужен; теперь я это понимаю. Он оживлял безмолвные, бесчеловечные машины, он был коммутатором.

Может быть, такую же роль, роль коммутатора, играют в самолете стюардессы? Не тогда, когда сообщают нам некие данные по радио, а когда идут по рядам, улыбаются, предлагают конфетку?

Стюардессы, лаборанты, телефонистки, официанты (в Америке одно время автоматизировали все закусочные, и вот тут-то хозяева их начали терпеть убытки, закусочные пустовали; выяснилось, что человек приходил не просто позавтракать, ему нужно было общение, ему хотелось, чтобы стакан апельсинового сока подали человеческие руки), продавцы — все это профессии нужные, важные, иллюстрирующие нашу поразительную тягу к человечности в мире современной техники.

«Это не просто отрасли, призванные выполнять план, а службы, непосредственно имеющие дело с людьми, со всем разнообразием их вкусов, с человеческим настроением, — говорил Леонид Ильич Брежнев на XXIV съезде партии. — Сводить их работу только к процентам выполнения плана и прибыли, видимо, нельзя».

А почему нам так хочется, чтобы самолеты летали при помощи машущих крыльев, как птицы? Почему так нецелесообразно устроена передняя часть автомобиля,

зачем мы настойчиво прячем мотор, ведь он никому не мешает, почему места для пассажиров, автомобильный салон становится все больше похожим на жилую комнату? Мода? Но ведь мода — это тоже способ включения вещи в человеческий круг.

Почему в тех же машинах шоферы развешивают фотографии красоток, вырезанные из иллюстрированных журналов, а в машинах частников впереди болтается на веревочке чертик, медвежонок, куколка, а сзади кладется для всеобщего обозрения плюшевый тигр или заяц, или еще какой-нибудь, желательно лохматый, зверь? Тоже мода?

Почему летчики называют свои самолеты по имени и хлопают по крылу, как хлопают по плечу приятеля? А пушки, минометы, снаряды? У них тоже есть свои имена. Это началось в годы первой мировой войны и получило особенно широкое распространение во французской армии. Есть даже специальный словарь арго французских солдат времен первой мировой войны, где все страшное называлось нестрашными домашними именами. А пулемет «максим»? А наша «катюша»?

Почему на станках, выкрашенных, как положено по всем психофизиологическим показателям, появляются переводные картинки или фотографии? Нельзя этого делать, не положено по инструкции, а появляются.

Почему так много цветов, вырезок, флажков в помещениях, где работают люди, занятые однообразным трудом, — машинистки, чертежницы, бухгалтеры, счетоводы? Походите по улицам, поглядите в окна учреждений: чем пышнее цветы на подоконниках, тем монотонней деятельность работающих за окном людей.

Почему современные проигрыватели некоторые любители заключают в корпус граммофона? Мода? Откуда это стремление снова и снова возвращаться к нормам давно отошедшего среднего мещанского обихода? Граммофон, самовар, герань — символы глухого Замоскворечья. Они ведь снова — в который раз! — вернулись в наш быт. А непонятная, неразгаданная историками искусства мода на изделия Фаберже?

Искусствоведы разводят руками: «Нет, это непостижимо!» И в самом деле, это трудно понять. Была в прошлом веке такая русская ювелирная фирма «Фаберже», делала серебряные украшения средней руки. «Фаберже» для России начала века — синоним поддельной,

ненастоящей роскоши, «Фаберже» в доме — признак неродовитости семьи. А сейчас брошки или шкатулка работы «Фаберже» покупают западные музеи.

Вопросы очень разные, казалось бы, из непересекающихся между собой сфер жизни: армия, производство, искусство, быт. И родственные: весь этот круг непохожих друг на друга психологических феноменов объединяет одно — стремление очеловечить, гуманизировать вещный мир вокруг себя. Есть в этом, должно быть, что-то и от ностальгии. Ностальгия — слово, широко употребляемое сейчас в философской и эстетической литературе; ностальгия — тоска по тому простому времени, когда вещь была приручена, открыта, не вызывала никаких смутных опасений.

...Каждый человек в меру своего таланта, вкуса, образования очеловечивает машины, с которыми он сталкивается на работе и дома. Каждый человек, следуя подсказкам интуиции, пытается создать вокруг себя зону минимального вещного комфорта.

* * *

Мы пришли к выводу, что между человеком и вещью исчез коммутатор, промежуточное звено. И новая эра их взаимоотношений грозит только нарастающими неприятностями. Вряд ли это столь уж справедливое утверждение. Скорее оно сделано в запальчивом стремлении доказать, что современный человек нуждается в психологической защите, в коммутаторе.

И коммутатор появляется. В тех областях нашей жизни, где наиболее явственно ощутима в нем потребность. В сфере производства и транспорта, в сфере, где возможность появления острых ситуаций наиболее велика и где стресс наиболее контролируем. Коммутатора этого изобретает, вводит, проектирует профессиональный психолог. Роль его так многообразна и сложна, так особенна в каждой профессии, настолько разные проблемы возникают при отборе кандидатов в машинисты и обсуждении вопроса о том, как лучше организовать рабочее место оператора, какой ширины должны быть стрелки на циферблатах авиаприборов и почему колбасу следует резать наискосок, в какой цвет лучше красить стены комнаты, где живет беременная женщи-

на, и почему полиграфическими шрифтами, имеющими «вкус мяса», нельзя рекламировать джемы, что, право же, трудно сообразить, с чего начинать разговор.

Может быть, с того, о чем мельком уже упоминалось: психология очень рано, еще в начале XX века, почувствовала тягу к сближению с миром техники. Производственную среду еще формировали по старинке. Еще никого из конструкторов и инженеров не занимали психические свойства человека, работающего у станка. Еще все было впереди. Впереди был гениальный чаплинский фильм «Новые времена», запечатлевший разрыв человека и машины: маленький нелепый человечек, бегущий по конвейеру, пытающийся по инерции закручивать (ведь он весь день закручивал гайки) нос своему начальнику.

Впереди были все разновидности производственных стрессов, когда человек, не поспевая за машиной, в бешенстве бьет кулаком по пульту, избавляясь от бессильной злобы. Стресс, когда кажется, что вот-вот упадешь в обморок, сойдешь с ума. Когда в случае аварии человек впадет в так называемую «бегущую панику»: убегает прочь, а куда и зачем — неизвестно.

И бежит, пока есть силы. Бежит кругами, как раненый зверь, не контролируя свое поведение, не связывая его с реальностью. Когда у него развивается состояние амока: под влиянием шока человек атакует все и всех на своем пути. У малайцев амок — реакция на унижение, следствие гнева, обиды; в современном мире — реакция на производственный стресс.

Или полная апатия. Когда перенапряжение настолько велико, что наступает состояние крайней эмоциональной стертости. Человека как бы нет, он не соучаствует в том, что происходит.

А класс психических состояний, получивших парадоксальное название «острая пассивность», особенно частый в условиях длительной опасности? Человек как автомат выполняет что требуется, но не в силах проявить минимальную инициативу.

Все было впереди. Впереди были странные времена. Человеку предстояло как бы нарастить органы чувств: руки, глаза, уши. Дистанционность управления — так это называется. Между органами чувств оператора и тем, что происходит где-то за горами, за долами, целая система технических устройств. Мало того, что надо

успевать прниимать от них информацию, а оиа подается особым, закодироваиным образом, иадо успевать прннимать решения. К тому же информация всегда иеполиа. Начииается угадыванне, игра. Игра полувслепую, в которой иеобходимо переиграть прнроду.

И работы страиные ожидалн человека. Оказалось, что одной из самых сложных и ответствениых будет... иичегоиеделаине. Только сидеть в мягком кресле, у пульта управлеиня. Но такне «легкие» дежурства диспетчеров оплачнваются, как показалн экспернменты, острым нервиым переутомлением, плохим сном, повышениой раздражнтельиостью.

Все это не просто новые внды труда — это незиакомые дотоле человечеству виды психнческих состояиий. Столь же недоступиые средневековому ремесленнику, как иам недоступны пока ощущения человека, побывавшего в космосе.

Коиечно, даже самый талантливый исследователь с невероятно богатым воображеннем не мог предвидеть на заре века темпов развития техники.

Психологн начали с самого простого: стали испытывать приборы. И попробовали подбирать для опасных работ «особеиных» людей. Что такое «Бегущая лента» Мюнстеиберга, о которой уже шла речь? Что такое первые попытки профессноиальиого отбора? А две ярчайшие фигуры первой третн XX века — Тейлор н Гастев (одии — предпрнимчивый техник с исследовательским складом ума, другой — пролетарский поэт, организатор иауки и производства). Разве оба они не были подведены всей своей деятельиостью к иеобходимости решения сугубо психологическнх проблем?

Правда, решали они нх очеиь по-разиому. Лииия исследоваиий Тейлора привела к иевероятиым психофизиологическим перегрузкам — зарубежиые фирмы все чаще выбрасывают своих рабочих на улнцу вовсе не из-за безработицы: человек выжат, выкачан иастолько, что ие в состояинн соответствовать темпам современиого автоматизироваииого производства. Тейлоризм как мировоззрение, как система отиошення к человеку не оправдывает себя даже чисто утилитарио. Сама логика развития техиики выиуждает зарубежиых пснхологов искать новые, более гибкие путн прнспособления «человеческого сырья» к нуждам пронзводства.

Лииия работ Гастева логнчески ведет к исследовани-

ям, посвященным тому, как обеспечить личности максимальный комфорт в окружающей ее производственной среде.

...А пока, в начале века, психология активно стремилась к контактам с производством, словно предчувствуя одно из самых плодотворных направлений своих исследований, словно догадываясь, что спустя десятилетия получит в свое распоряжение совершенно потрясающие объекты исследования: космические кабины, вычислительные устройства, центрифуги, реактивные самолеты, подводные лодки, километровые автоматические линии.

В годы после второй мировой войны появились кибернетика, теория информации. Человек оказался включенным в систему «человек — машина». Встала задача: на каком языке, в каких терминах описывать их взаимодействие? Что требовать от человека в новых условиях и что требовать от машины?

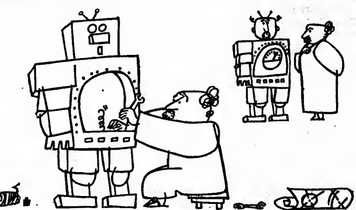
Еще в 1945 году один из ведущих специалистов по инженерной психологии утверждал: чтобы наилучшим образом планировать, проектировать и управлять, сложная система человеческих функций и функций машины должна быть описана в одних и тех же понятиях. И понятия эти должны стать техническими.

Эта точка зрения получила довольно широкое распространение. К тому же она вполне соответствовала обывательски-утилитарному взгляду на человека как на примитивный механизм. «Вы посмотрите, — говорили сторонники этой точки зрения, — современный человек и не претендует на духовную сложность. Послушайте, как говорят о себе люди: шофер в столовой — «Пора подзаправить бак», радиоэлектронщик, в досаде стуча по голове, — «Реле заело». А в бытовой речи? «Перемени пластинку», «Куда прешь, как танк?», «Мотор барахлит» — это про сердце! А комплименты какие говорят: «Молоток, всегда едет только своим бензином». Такая сейчас полоса, такой этап в развитии научно-технического прогресса. Что поделаешь!»

В разговорах этих не было серьезной аргументации. Да, теперь говорят про идущего напролом — «как танк», даже «как робот». Раньше бы сказали «как слон». В языке находил выражение не изменившийся взгляд на человека, а изменение условий жизни. Человек начал черпать примеры из второй природы, оказавшись в слишком большой изоляции от природы первой.

Но эта точка зрения, призывавшая бодро и решительно приспосабливать человека к машине, не выдерживала прежде всего чисто профессиональной критики. Известный американский инженерный психолог Чапанис сказал об этом так: «Назовите, если вам этого так уж хочется, человека машиной, но не недооценивайте его как предмет исследования. Он не линейная машина. Он машина с программой, которую вы вовсе не знаете. Машина, подверженная случайным помехам. Машина думающая, имеющая ко всему собственное отношение и эмоции. Машина, которая легко вас перехитрит в ответ на попытки разобраться, почему она устроена так, а не иначе, — заметьте, ей это удается довольно часто».

К словам Чапаниса, не заключающим в себе никаких философских откровений, трудно было не прислушаться: тривиальная истина о том, что человек не линейная машина, быстро забывалась на фоне грандиозных триумфов техники. Истину нужно было напомнить. И Чапанис напомнил ее на корявом инженерном языке, привычном коллегам-инженерам. Сделать это надо было тем решительнее, что становилось ясно: создание автоматов любой степени сложности становится невозможным без внесения в них «модели человека». Это был вывод, сделанный на основании печального повседневного опыта общения человека и автомата: слишком много катастроф, слишком много нервных срывов. Опыт, ведущий начало со времен второй мировой войны, когда из-за несовершенства пультов управления разбивались самолеты и гибли летчики.



Модель человека нужно было «закладывать», как выяснилось, даже в самые примитивные бытовые приборы. Вот совсем простой пример. Его любит приводить в своих работах психолог Маргарита Исидоровна Бобнева. В одной из лабораторий объектом исследования стала обычная четырехконфорочная газовая плита. Всем известно, как она устроена. На горизонтальной плоскости плиты расположены четыре конфорки, на вертикальной панели сбоку — выключатели.

Обычно мы включаем их машинально. Помните, как это делается? Первый выключатель включает левую горелку, второй — дальнюю левую, третий — дальнюю правую, четвертый — ближнюю правую. Когда на макете поменяли местами выключатели и связали их с другими горелками, испытуемые начали делать ошибки. И это было странно, ведь они же не знали, что перед ними макет газовой плиты.

Очевидно, дело не в том, что изменился автоматизм действий. Видимо, большинство людей определенным образом «читает» любые приборы, любой незнакомый пульт управления. Что же это за свойство такое — читаемость прибора? Да и прибора ли? Может быть, это уже свойство самого человека, как бы вынесенное вовне? Объективированное? Может быть, следует внимательно приглядеться ко всем предметам, созданным человеком?

Отныне мир психологии как бы удвоился. Отныне психологию человека можно было изучать, исследуя, как человек «присутствует» в вещи, пытаясь в любой вещи разглядеть «модель» психики человека, с тем чтобы на будущее нащупать законы построения таких моделей.

Новая постановка задачи влекла за собой новые методы работы — теорию информации, статистические методы — без них уже немыслимо было обойтись. Так же, как немыслимо было вести исследования без электронного оборудования и электроэнцефалографов.

Начиналась новая эра в прикладной психологии. Но это только красивые слова — «новая эра». На самом деле предстояла утомительная однообразная работа. Нужно было дать психологические рекомендации для «лицевых частей» приборов. Если прибор плохо оформлен, начинаются ошибки, появляются неуверенность, растерянность, стресс, возникает тот самый «конфликт человека с автоматом».

Предотвращение стрессов — возвышенная задача. Но в повседневной работе инженерного психолога какая возвышенность? Чертить циферблаты и стрелки, черные на белом и белые на черном, менять освещенность, менять шрифты и размер делений, концы стрелок и их толщину, сопоставлять двухстрелочные и трехстрелочные высотомеры, счетчики, искать сочетания признаков, при которых человек, работающий с прибором, будет делать как можно меньше ошибок. А потом лучшее оформление стандартизировать, писать заключения и рекомендации.

Нужны были точные, тонкие данные о «пропускной способности» человека, о скорости его двигательных реакций, о свойствах обоняния, об эмоциональных расстройствах, о памяти, мышлении, воображении, ожидании, надежности. Нужно было попытаться разгрузить и без того перегруженные глаза и уши, научиться передавать информацию на кожу, на кончики пальцев, например.

Нужно было изучить влияние шумов, атмосферного давления, вибрации, музыки, цвета. Нужно было заложить в машину десятки данных о человеке — модель человека. Нужно было вмешиваться в области, которые испокон веку принадлежали, казалось бы, совсем другим профессиям — физиологам, медикам, биологам, лингвистам.

* * *

О проблемах прикладной психологии можно говорить бесконечно. С каждым годом приходит все большее понимание ведущей роли психологии в науках о человеке.

На всякий случай мне хотелось бы только рассеять одно ложное впечатление, если оно нечаянно возникло. Автор вовсе не противник современной техники. Все сверхскоростное, сверхкомфортабельное, сверхавтоматизированное, сверхуспешное нам нужно. Закрывать на это глаза, с грустью вспоминая аксаковский «Аленький цветочек», было бы нелепостью. К тому же несправедливой нелепостью. «Человек может чудно жить с автоматами, — сказал как-то летчик-испытатель Марк Лазаревич Галлай. — Я, например, их нежно люблю, правда, только в тех случаях, когда человек и автомат надежно прилажены друг к другу». Галлай знал, что говорил: всю

свою профессиональную жизнь он занимается прилаживанием к человеку еще не совершенной техники.

Все ответственнее и многограннее становится роль психолога, призванного заранее проектировать будущие формы общения человека и машины: прикладная психология по сути своей проектировочная дисциплина. Но наука, как правило, занята неотложными ежедневными делами. Дальних прогнозов, дальних планов практически пока нет. И все-таки психологи в неожиданно вспыхивающих дискуссиях, в сухих научных статьях, в приватных разговорах нет-нет да и проговариваются, как видят они будущее.

Придет время, и в машину, в систему, может быть, удастся заложить «антистресс». Сложная система, как автопилот, в роковые минуты научится подменять человека, даст возможность продержаться, прийти в себя. Деятельность человека станет дискретной, прерывистой.

Еще один путь — выработка особых автоматизмов в работе. С помощью особых методик, допустим, сходных с теми, по которым тренируют горнолыжников. Во время спуска им предлагают решать сложные математические задачи. Здоровым, веселым парням решать задачи гораздо сложнее, чем спускаться по трассе. Ее они преодолевают уже как бы автоматически. Происходит перераспределение эмоций, напряжение спадает.

Отсюда еще одна идея — постараться сделать работу более разнообразной, более комплексной, как выражаются психологи. В комплексной работе гораздо меньше вероятность наступления стрессов.

И еще один закон: чем однообразнее, монотоннее работа, тем больше игры, случайностей, праздника должно быть в окружающей обстановке. Этот закон уже получает некоторую реализацию в профессиях, связанных с постоянным ожиданием опасности. Это уют, домашность обстановки операторской, когда она становится как бы частью дома. Цветы, мягкие кресла, нестандартно расставленная мебель — все это как будто необязательно. Однако практика показала, что ощущение себя «как дома» если не снимет, то хотя бы компенсирует напряженность ожидания. Человек понимает, конечно, что «как дома» — это иллюзия, но иллюзия, напоминающая о существовании другого, привычного мира, а не только мира мерцающих лампочек.

Звери, птицы, цветы на заводском дворе, музыка

в цехе — тоже иллюзия, иллюзия нерегулярной, живой жизни на фоне регулярной, строго регламентированной деятельности.

Фантазируя, можно предположить, что в далеком будущем станки станут делать не из металла, а из гибких пластичных материалов. Человек, хозяин станка, будет придавать ему любые формы. Вряд ли это будут четкие геометрические линии современного стиля оформления, скорей странные диковинные очертания, неуловимо отражающие личность человека, его настроения. В мире подвижных, нестабильных форм будет легче восприниматься стабильность, рациональность самого производства.

* * *

...Все эти планы в будущем. А пока психологи работают и спорят, мы, просто люди, довольно беззаботно относимся к миру окружающей нас техники. Мы благодушествуем, есть в нас эта неистребимая черта: «Ах, ребеночку всего три месяца, а уже держит головку!», «Ах, всего годик, а уже ходит, а не ползает!», «Ах, тридцать лет, а уже защитил диссертацию!»

Те же ахи расточаем мы миру техники: «Ах, дядя Петя звонил вчера из Владивостока, а слышно было как из соседнего подъезда!», «Ах, до чего удобно летать на ТУ-104, в Москве позавтракали, в Сочи пообедали. Летели меньше, чем в очередь в ресторан стояли!» «Ах, подумать только, машины сами ведут учет и управляют производством!»

Пришла пора отказываться от сентиментальных восторгов по поводу новой техники. Пришла пора перестать играть с транзистором, как дикари играли с тотемом. Вещи стали взрослыми, вещи активно вмешиваются в нашу жизнь. Пришла пора осознать возникшую ситуацию.

Мы привыкаем: техника помогает нам жить. Служит безропотно. Правда, когда она выходит из повиновения, страшно. Страшно и непрерывное «бескоммутаторное» давление автоматов на нашу психику.

До сих пор сумасшедшие изобретатели подают заявки на изобретение «вечного двигателя». Почему никто никогда не попытался изобрести палку с одним концом? Да потому, что человек знает: палок таких не бывает.

Сколько благ ни принесет тот конец, за который держишься, другой стукнет — рано или поздно.

Психолог, занимаясь тéхникой, пытается смягчить удар того — неизбежного — конца. Но никакой психолог не проделает за нас нашу внутреннюю работу по осознанию себя, своего места в мире вещей, по осознанию времени, в которое мы живем. А чтобы явственно ощущать ход времени, стоит попытаться осознать свои отношения с вещной средой.

* * *

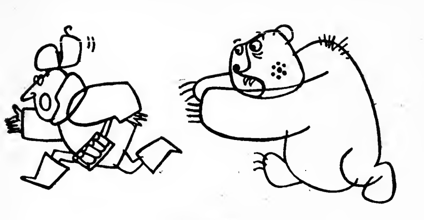
...Прикладная психология, о которой мы повели речь, занята вопросами, требующими неотложных решений.

Мы попробуем побывать в нескольких лабораториях. Выбраны они по одному принципу: в той или иной мере все они заняты изучением стресса.

Стресс — одно из основных направлений современных психологических исследований. Может быть, стоит сразу оговориться: об истоках стресса, о его физиологических механизмах сейчас много спорят исследователи. Существуют различные гипотезы, дополняющие и перекрывающие друг друга. И это естественно: всякое новое явление в науке, которым много занимаются экспериментаторы, не может не вызвать споров.

Для нашего же рассказа сейчас важны не внутриведомственные ученые споры, не терминология, не таинственные молниеносные появления и исчезновения в крови в «пик» стресса тех или иных веществ. Нам важен сам человек, его поведение, его внутренний мир в минуты стресса.

Ибо у стресса есть великое преимущество: он помогает разглядеть основы человека, костяк его личности.



Глава вторая

ФАКТОРЫ ТРЕВОГИ

КИНО

Сотни лабораторий во всем мире заняты сейчас физиологией и психологией стресса. Появились термины — стрессовые профессии, стрессоспособность, стрессоры, стрессовыносливость.

Что же такое стресс? Почему в последние годы это слово приобретает некий универсальный смысл, охватывающий широкий круг явлений человеческой психики?

В переводе с английского стресс — напряжение. Что-то случилось или должно случиться, и человек выдает реакцию на то, что, по его мнению, обязательно произойдет. В узком смысле этого слова стресс — фактор тревоги, вызывающий патологические изменения в организме. Что же стрессирует человека, а что нет?

Есть в нашей жизни магическое словосочетание, пришедшее к нам только в XX веке. Оно стрессирует нас больше, чем вся техника, вместе взятая: **надо успеть.** Но при чем тут стресс? Только при том, что лихорадка двух коротеньких слов, а они вмещают в себя, кроме тех вещей, о которых мы уже говорили, и несбывшееся или несделанное главное дело жизни, и жажду славы, и неутоленное честолюбие, и невстреченную единственную женщину, и неувиденные города, и непрочитанные книги, — лихорадка эта создает прекрасный фон для нервного срыва. По любому поводу и любой причине.

В ситуации нервного напряжения повод и причина легко меняются местами. Человек бурно реагирует на пустяк, не заслуживающий внимания. Что же тогда случится, если произойдет не «пустяк»? Ведь жизнь, даже самая налаженная, хорошо организованная жизнь, где все подчинено разумной целесообразности, непредсказуема. Неприятность на работе, ссора дома, авария, спешка, гонка, любовь...

Где здесь стресс, а где обычные обстоятельства жизни? Или стресс — это нечто универсальное? Неизбежный спутник современной жизни? Как резонно заметил зарубежный исследователь стресса: «Многие считают стрессом все, что происходит с человеком, если он не лежит у себя дома в постели. Нам следует спросить себя также, должны ли мы выйти за пределы нормальной жизни, чтобы считать ситуацию стрессовой».

Что же такое нормальная жизнь? И где ее пределы?

В том-то и загвоздка, что у каждого человека свои

границы «нормы». У каждого свой запас стрессоустойчивости. Каков же он? Это одна из проблем, которую пытаются выяснить психологи.

Даже самый блестящий теоретик, даже виртуозный экспериментатор не в силах поймать и учесть в ходе своих рассуждений стопроцентно очищенный стресс. У стресса всегда есть примеси, профессиональные, личностные. Достаточно ясно свидетельствует об этом пример исследований машинистов и диспетчеров железиых дорог. Правда, вокруг нас бушует масса «стрессоров», имеющих некий уииверсальиый характер. Их-то и пытаются ловить психологи.

Кино, например. Вспомним разговоры, которые ведутся вокруг каждого нового фильма. «А о чем это кино?» — спрашивают вас или вы спрашиваете. «Ну как бы это тебе сказать, — отвечают вам, — долго рассказывать». — «Нет, ну правда, о чем?»

Вы задумывались, почему, прежде чем пойти в кино, мы всегда наводим справки? Чтобы узнать, хороший фильм или плохой? Да, коиечно, поэтому. Но еще и потому, что иам непремеиио нужно знать, совпадает ли иастроение фильма с тем, что у нас сейчас на душе. И если совпадает, то не слишком ли?

В кино ходят все. Это стрессор для всех. И потому о киио как о стрессориом факторе есть специальные многочисленные исследоваиия.

Несколько лет назад в Америке, в Калифорнийском университете провели такой опыт. Испытуемым показали кинофильмы о ритуальных обычаях австралийских аборигенов. Но не о простых. А о самых кровавых. Во время показа фильма за испытуемыми велось иаблюдение. В минуты тяжелых сцен, изображавших саму ритуальную операцию, были зарегистрированы все признаки стресса: психологические (в поведении) и физиологические — изменение пульса, гормональные сдвиги, изменение электропроводимости кожи. Но не только для подтверждения этого факта ставил профессор Лазарус свой эксперимент.

Он пытался проверить, от чего зависит стрессовая реакция зрителей: от того, что происходит на экране, или от трактовки того, что показывают. С этой целью в эксперименте одному и тому же кинофильму дали три разных звуковых сопровождеиия.

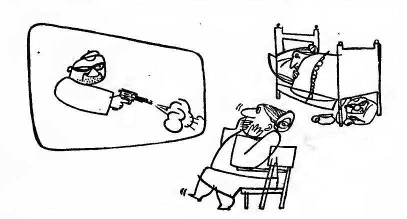
Ритуальные операции — как к ним относиться? Пер-

вая версия объясняла: это опасно, это вредно, в раны легко проникает инфекция. Вторая — авторы эксперимента назвали ее «отрицанием» — отрицала первую. В ней утверждалось, что это великий праздник для всего племени, что подростки с нетерпением ждут посвящения в мужчины, что это день радости и ликования. Третье звуковое сопровождение — «интеллектуализация»: ученый-антрополог беспристрастно рассказывает о незнакомых зрителю обычаях австралийских племен. И наконец, еще один вариант — немой.

Лучше всего воспринимался немой вариант. Зрители были совершенно спокойны. Оба защитных варианта — «отрицание» и «интеллектуализация» — заметно снижали степень стрессовой реакции. Опадающие вниз зубцы электропроводимости кожи — наглядное тому свидетельство.

Серия киноэкспериментов показала: один и тот же фильм может вызвать, а может и не вызывать стрессовую реакцию. Все зависит от того, как ориентировать зрителя. Это означает не только то, что появление стресса можно контролировать. Это означает, как пишет профессор Лазарус, что в основе возникновения стресса часто лежат интеллектуальные оценки. Понятие оценки, продолжает он, было поэтически выражено в одной из реплик Гамлета: «Вещи сами по себе ни хороши, ни плохи. Наша мысль делает их такими».

В Швеции, в одном из психологических институтов, провели серию киноопытов. Четыре вечера подряд два-



дцати молодым женщинам, конторским служащим, показывали кинофильмы.

В первый вечер фильм был чисто видовым. «Вся группа, — как пишут в своем отчете авторы эксперимента, — испытывала субъективное чувство уравновешенности и покоя».

На второй день испытуемым показали трагический фильм Стенли Кубрика «Пути славы». «В зале царила атмосфера злобы и возбуждения. Резко увеличилось выделение адреналина в крови».

Вечер третий. Забавная кинокомедия «Тетка Чарлея». Испытуемые весело смеются. И все-таки в моче увеличилось выделение катехоламинов.

Четвертый вечер, На экране жестокая и страшная история — фильм «Маска дьявола». Девушки признались, что испытывали сильное чувство тревоги. Резко подскочило выделение катехоламинов. Неожиданно после перерыва показали еще один фильм, еще более зловещий, но только короче. Количество катехоламинов продолжало увеличиваться.

Почему так показательны эти эксперименты? Потому что кино прекрасная модель для изучения реакции испытуемого на самые разнообразные жизненные ситуации. Модель, использованная, в сущности, очень мало: ведь с помощью кино можно узнать много нового не только о том, каковы физиологические, биохимические и прочие реакции человека на стресс, с помощью кино можно «простукивать» человеческую психику. Фильмы — это своеобразные тесты.

Есть еще одна превосходная модель для изучения стрессов. Тоже зрелище. Только мы в этом зрелище не зрители, а исполнители, актеры. Участия в этом зрелище в связи с введением в нашей стране всеобщего среднего образования не удается избежать ни одному человеку.

Зрелище это — экзамен.

ЭКЗАМЕН

Если идти по набережной Невы мимо Медного всадника, то от моста Лейтенанта Шмидта надо повернуть налево, пройти квартал, потом свернуть направо, и начнется старинная петербургская улица, узкая, с мемориальными досками, с домом, где жил Пушкин.

В самом конце улицы дом, куда иду. Не дом — особняк. Особняк графа Бобринского, незаконного сына Екатерины II. Сейчас здесь психологический факультет Ленинградского университета. Надо войти в ворота, пройти двор, крытый брусчаткой, замкнутый двумя крыльями флигелей. Летом камни прорастают травой, стоит в углу невесть как сохранившаяся не то пролетка, не то карета, будто только брошенная; среди тишины и лени глаз невольно начинает искать лошадей, конюшни и прочие приметы давно отжившего быта. И трудно представить себе, что в правом флигеле, где, говорят, как раз и были конюшни, идут эксперименты в лаборатории инженерной психологии, стоят звуконепроницаемые камеры, пульты управления, стенды. Ведь сама же прошлым летом сидела за этими пультами, сама работала в тесных камерах — все равно связать воедино два этих впечатления трудно.

...Сейчас, зимой, двор белый, и дом нарядный от снега, и колонны кажутся выше. Но двор, двор этот обязательно чем-то удивит: на месте летней пролетки — бочка, огромная, деревянная, распухшая от старости.

Почему так тянет меня в этот старинный дом, почему в каждый свой приезд в Ленинград я непременно прихожу сюда и подолгу толкаюсь в вестибюле? А потом сижу в разных лабораториях, в крошечных комнатушках и разговариваю, и расспрашиваю, и всегда не хочется уходить.

...Глава ленинградской школы психологов, декан факультета, заведующий лабораторией Борис Герасимович Ананьев никогда не занимался специально стрессами. Вот уже десять лет на психологическом факультете идет эксперимент, где стресс только одна из частей общего направления работы. А работа задумана грандиозная: попытаться найти закономерности человека во всей его целостности, попытаться выяснить, что от чего зависит, как связаны между собой различные процессы, происходящие на разных уровнях — биохимическом, нейродинамическом, психологическом.

Организм человека — это тысячи беспрерывно меняющихся, скользящих переменных, это сложные взаимозависимости, взаимовыручаемости, взаимоодолжения, о которых наука почти ничего не знает. Что происходит в организме, если с человеком что-то случается, что на что влияет и как.

Есть тело, плоть, и есть психика, есть то, что прежде называли душой. Как они связаны между собой? Тело — это энергетика, топливо, при нехватке которого даже великий ум, великая душа не в силах полностью исполнить своего предназначения. Это как электростанция: чем больше мощность, тем больше света. Но если бы все было так просто! Свет ума, свет интеллекта поддерживает и сохраняет нашу энергетику.

Несколько лет назад в Кембридже провели обследование «долгожителей» — выпускников университета. («Долгожители» — служебный термин, это люди, прожившие долгую жизнь.) И выяснили совершенно неправдоподобную с точки зрения общепринятых представлений вещь: «интеллектуальные» лидеры прожили на несколько лет дольше и жили до последних дней своих более полно и содержательно, чем лидеры «спортивные». Получается, что лидеры спортивного склада стареют быстрее так называемых «интеллектуалов». Совсем до недавнего времени наука была убеждена прямо в противоположном.

Чем эту закономерность можно объяснить? Даже на такой частный вопрос ответить довольно трудно. Ясно только одно: все связано, и все живет в организме человека своей обособленной жизнью. У каждого свои заботы. Клетка, каждая, себя охраняет, у нее свои неотложные дела. Все в человеке действует словно по известному афоризму: «Если я не за себя, то кто же за меня, но если я только за себя, то зачем я?»

Каждый человек неповторим, у каждого свои закономерности во взаимодействии «тело — душа». Эти закономерности во многом определяют его жизненный путь. Можно ли познать эти закономерности, можно ли попытаться понять, как, в какую сторону развиваются возможности человека, можно ли, изучив человека подробно, попытаться помочь ему найти «свою точку», предсказать его резервы, выяснить потаенные сюрпризы, которые вполне может подстроить ему его собственная хрупкая оболочка, — иначе говоря, тело (почки, печень, селезенка, сердце, вегетатика). Можно ли предостеречь человека от будущих срывов?

Все эти вопросы интересуют в психологии те направления, которые только-только начинают развиваться, — психодиагностику и психогигиену. Чтобы что-то узнать о человеке и суметь дать ему серьезные рекомендации,

нужны длительиые н планомерные исследования. А такие исследования не проводнлись пока нигде в мире.

Исторически психология развивалась совсем по другому пути. Со дня своего основания экспериментальная психология изучала человека по отдельным функцням, «поперек». Оиа не избежала, да н не могла избежать вполне закономерного этапа в своем развитин. «Поперек» — это берется группа взрослых и нсследуется по узкой, нитересующей экспериментатора теме. «Поперек» — это момеитальная фотографня психофизиологнческого самочувствия; да, сейчас это так. Но почему так, от чего это зависит, изменится ли картииа, если измеиится что-то еще, никого ие волновало. Исследовался не человек — фуикция: объем памяти, восприятие, температурный режим, бнохнмия.

Профессору Аианьеву для исполнеиия своего замысла, для первой в нашей стране попытки ввести пснхогигиеиу и психодиагиостику, ввести не абстрактио, а реально, работая н помогая живым людям, иужен был длительиый эксперимеит, иужны были постояиные испытуемые, чтобы проследить, как год от года меияется человек. И еще ему нужна была снтуацня, которая выбивает человека из привычного течения жизни. Потому что имеино в такой момент психолог может измерить цену, которую платит оргаинзм за ту или иную деятельиость. Вспомним испытуемых на «Бегущей ленте» Мюнстерберга в лаборатории на колесах. Их психофизиологические расплаты за одии-единствеиный сигнал. Анаиьеву нужно было выбрать деятельность, результаты которой поддавались бы сопоставлению с результатами экспериментов: деятельность должна была в силу своего характера как-то мериться.

Аианьев выбрал. Испытуемые — студенты факультета, все пять лет нх учебы в университете. Деятельиость — интеллектуальная, процесс познания. Ситуация — экзамен. А сравнеиие, фон — обычиая студеиЧеская жизнь.

* * *

Тнхо в лабораторин. Тихо, уютно. По деревяииой стоптанной лесенке надо круто пробежать трн этажа: медленно пойдешь, задохиешься. Взлетишь — и по-

падешь в маленькие комнатки. Потолки низкие, паркет не наборный, и плафонов нет, и люстр — бывшие комнаты для челяди. Страшно тесные комнатки, битком набитые аппаратурой, рабочими столами, стульями. Окна тоже маленькие, выходят в старый парк, и ветки, когда ветер, бьют в окна. Ветки эти, старые печи, пощелкивание приборов, скрипучие полы, шелест ленты энцефалографа, беспрерывная тихая смена народа (встретятся, уйдут, место свиданий, как памятник Пушкину в Москве) создают особую, непередаваемую атмосферу.

Затишье перед бурей: через полчаса начнется экспресс-эксперимент. Экспресс-эксперимент — это когда каждый опыт занимает не больше двух-трех минут. Десять методик испытуемому надо пройти за полчаса. Сегодня четвертый курс проводит фоновые замеры у первокурсников. Фоновые — это человека замеряют на фоне покоя, обычного его состояния.

А пока четвертый курс рассаживается, каждый за свой прибор. И подгоняются по одному в строгой очередности, чтобы никому нигде не ждать (это имеет значение для опыта), первокурсники. В тесном коридорчике Капитолина Дмитриевна Шафранская проверяет список «фона» и пропускает каждого почти на ощупь. Шафранская в лаборатории занимается эмоциями, но сейчас она просто ответственная за студенческую практику, потому что нынешние замеры не только плановый эксперимент, но и одновременно практика для четвертого курса. Рядом с ней, тоже ответственная, студентка-четверокурсница, сама противоположность домашней Капитолине Дмитриевне, поджарая, длинноногая девица: юбка-шотландка в синюю клетку, синие веки, пояс из медных колец. «Противоположность» тоже следит за своевременным прогоном испытуемых. В лице ее некоторая утомленность от жизни, от власти, от молодых лет, но за ними — плохо скрываемое удовольствие: от молодых лет, от жизни, от власти.

Температура кожи обеих рук и лба, потоотделение, тремор (дрожание рук), кожно-гальванический рефлекс, реактивность, двигательные рефлексы, простейшие тесты — во всех четырех комнатах идет эксперимент, щелкают приборы, выплывает лента энцефалографа. Дрожат, боятся первокурсники — вот тебе и фон, вот тебе и покой!

И чего боятся? Нечего вроде бояться. Ну пусть по-

вышенная возбудимость (это иадо сесть под «Векслера», к прибору под иазванием «психорефлектометр», иадеть иаушинкн и слушать то высокий звук, то низкий, то совсем ннзкий; услышав, тут же нажать на киопку, время измеряется). Ну пусть на руках у тебя температура выше, чем на лбу («Это очень редко бывает, ио вы ие волнуйтесь, это еще иензвестио, что значит»). Пусть руки у тебя дрожат нли не дрожат вовсе («Что это онн у меня совсем ие дрожат, а?»). И рисуешь ты «лесеику» с закрытымн глазами совсем не в ту сторону. Пусть! А все-таки иеприятио, а все-таки хочется зиать, не хуже ли ты других н что в тебе этим дрожаиием или исключнтельно страниым иедрожаннем руки открывается. Не в иауке, для которой ты сейчас здесь сндишь, а в тебе, только в тебе.

...Магинтофон, два экспериментатора, нспытуемая.

Слабый румянец, белые, свон, иекрашеные волосы рассыпались по плечам: тут ведь не до красоты, тут бы в дурочки не попасть. Оказывается, очень сложио целых две мннуты наговаривать любые слова, если включеи магинтофои. Слов не хватает. (Факт, на который обратнл вниманне еще Сеченов прн исследовании памяти: человеку трудио иаговаривать бессмыслеиные слова.) Описаио то, что внутри лабораторнн, потом то, что за окиом, а две минуты все ие кончаются. Тогда в потоке слов вдруг — взгляд на экспернментатора: «мучнтель». «Мучитель» улыбается н подмигивает, ои преисполиен явиого сочувствия к ближиему: сам все это проходил.

Испытуемую сажают проверять тремор. Небольшое отверстие, палочка, надо шевелнть палочкой, не задевая стеиок отверстия. И — удивительиое дело — у трясущейся от страха девочкн руки не дрожат вовсе!

А иа ее место «сияя, утомлеиная шотлаидка» подводит взрослого человека. Ему уже тридцать однн год. Вот ои сразу выбирает план рассказа: сиачала в одних существнтельных мы узиаем «Сказку о рыбаке н рыбке», потом начииается картина войны — «взрывы, бомбы, люди, дети, горе, земля». А за ней мир — «зелень, счастье, салют, цветы...».

Слушать все этн обычиые слова почему-то трудно. Как будто приоткрывается запретная дверца, за которую необязательио заглядывать. За баиальными словами чудятся другие вещи, трудно объяснимые, ио другие.

«Взрослый» студент отправляется иа тремор, руки

его дрожат безудержно. Ну вот, а так легко обошелся с магнитофоном! Где тут закономерности, как их нащупать?

...Тянется лента энцефалографа, сидит рядом известный независимостью суждений Петя Карпов, проводит свой эксперимент. На листочке у него десять прилагательных. Используя их в любой комбинации, в любой последовательности, надо как можно скорее назвать двадцать понятий. Это как с магнитофоном, только кажется, что легко, а открываешь рот и... Испытуемого у Пети не было, я села, попробовала и на второй попытке сникла.

— Давайте, давайте, — подгонял меня Петя. — Я своим испытуемым спуску не даю, по часу держу, не отпускаю. Правда, вы гостья... Как хотите, конечно.

Что-то много набралось в комнате старшекурсников; видно, кончается эксперимент. Галдят, обсуждают свои дела, а заодно наскакивают на меня, доброжелательно наскакивают. И манера разговора, и течение его серьезны и приятны. Нет в нем снобизма, всезнайства, жестокой снисходительности студенческих лет — все мы через нее проходили! Наоборот, даже есть открытость и готовность попытаться понять собеседника. Может быть, эта открытость идет от самостоятельности? Научной самостоятельности (ведь со второго курса все они так или иначе вовлечены в эксперимент), а за научной тянется и другая, ранняя нравственная независимость. Им нет нужды самоутверждаться в моих глазах. Зачем? Ведь я же сама видела — они уже много умеют, им доверяют проводить исследования, они даже научились не обрывать друг друга, а спорить.

Это стиль, это дух, это воздух особый здесь, на факультете.

— Раз, два, три — начали.

— Раз, два, три — кончили. — Снимают кожно-гальванический рефлекс.

* * *

Эксперимент начался десять лет назад. На заседании лаборатории бесконечно обсуждались методики по каждому разделу: нейродинамике (исследующей уровень активности коры головного мозга), психомоторике, интеллекту, эмоциям, антропологии, надо было выбрать

не больше десяти проб. А главное, иадо было придумать, что измерять, в какой последовательиости, чего не упустить. И наконец, как обрабатывать результаты замеров, — ниыми словами, что хотеть получить от машины.

Что хотеть получить от машины — это значнт, что в иее закладывать. Что в иее закладывать — это прежде всего как закладывать. Для этого нужио разбираться в математике. Математике психологов тогда еще не учили. Надо было учиться самим. Оии учились, бегалн иа лекции на физмат. И аспираиты бегали, и каидидаты иаук, всем пришлось бегать.

А после первого года экспериметов, когда коичились экзамеиы на первом, нынешием четвертом курсе, вся лаборатория во главе с Борнсом Гераснмовичем заседала три дня — с утра до вечера. Шло лето 1967 года. Заседания эти стенографировались.

Мие не показали стенограмму. Я бы тоже, иаверное, не показала ее никому чужому. Мие рассказывала об этих диях Мария Дмнтриевна Дворяшнна.

Их было пятьдесят — первокурсиков. И вот их брали по одному по очереди и обсуждалн — со всех сторон. Бралн все замеры — фон, экзамеиы, социометрию (положеиие человека в коллективе), групповую совместимость. Точные данные перемежались чисто описательнымн.

— Ты поимаешь, мы же их наблюдали целый год, и каждому преподавателю было что сказать. Вот, иапример, экзамен. Перед экзамеиами среди ребят болтались иашн людн, наблюдалн, кто за кем пойдет, записывалн. Тут уже многое в человеке открывается, особеио если это первый экзамен в университете.

Потом сам экзамен. Я сидела рядом с Борисом Гераснмовичем, якобы ассистнровала. Но вообще-то заполняла специальный блаик для регистрации поведеиия студеитов. Что там было? Ну все: н хронометраж времеии, н жесты, н голос, н вопросы, н манера себя вести. А перед тем как взять бнлет, обратн винмание, студенты отдавали иам коиспекты лекций Аиаиьева и конспекты семииаров. Нам оин были нужиы. Мы коиспекты ранжнровали: от иуля до пятидесяти. Сфотографировали начало, конец, середину. Очеиь любопытиая картиия. Начало у всех прекрасное: первая в жизии лекция. А дальше — разнобой.

— Хорошо, а что особенного расскажут конспекты? Аккуратность, терпение, и все.

— Нет, у нас мысль другая была. Мы хотели графологию копнуть. Объявился к ней в то время чей-то частный интерес. А потом заглох. Так материалы с тех пор и лежат. Конспекты ответов мы тогда отобрали. Тоже лежат. Пригодятся еще.

И вообще, посмотрела бы ты на наши экзамены. Это же Ананьев. Он разрешал приносить на экзамен абсолютно все. Кроме учебников. И то потому, что плохие. Статьи, монографии, справочники. Сколько унесешь, столько принеси, два чемодана — пожалуйста!

Ну вот. И все это мы тогда обсуждали. И после второго курса, и после третьего тоже.

А ты видела у нас в лаборатории синенькие тетрадочки? Их заполняют почти каждый день. Каждый день что-нибудь да есть: цифры, факты, наблюдения. Понимаешь, это первый опыт подобного анализа, наши наблюдения. Это как профессорский обход: каждый кратко свое, и в конце — диагноз. У нас, конечно, еще не диагноз, у нас это некоторый очень осторожный прогноз: как будет развиваться личность и как ей лучше помочь.

— И все-таки бедные ваши студенты! Со всех сторон за ними наблюдают, шага не ступи, каждое лыко в строку, в синюю тетрадь!

— Какие они бедные! Они счастливые. Ты забыла, как это бывает? Приезжает человек в чужой город, жи-



вет в общежитии, ходит на лекции. И никому он не нужен. Ты знаешь, как они экспериментом гордятся, всем в общежитии хвалятся. И потом, они же понимают, что им добра хотят, что это не голая наука.

...Это не голая наука! Может быть, сокровенный смысл долгого ленинградского эксперимента именно в этих словах.

Не голая наука! И не прикладная наука! Наука, пытающаяся помочь. Притом довольно странным и необычным для науки образом: не конкретно, узко, в каком-то одном, маленьком направлении, а вообще помочь. Помочь найти себя. Но опять-таки не в конкретном узком плане. Тут, пожалуй, употреблено не то слово. Распорядиться собой. Ведь испытуемые Ананьева уже выбрали, они уже будущие психологи.

К концу пятого курса многое ясно: и восприятие, и память, и динамика развития интеллекта, и его возможности. И ясно, хотя и очень приблизительно, чем выгоднее человеку заниматься, если трезво оценивать данные, которыми наделила его природа. Выгоднее. Противное слово! Но здесь оно вполне уместно. Потому что речь идет о высокой, благородной выгоде. О выгоде быть самим собой, дать излиться своим возможностям. О выгоде, если хотите, не прозевать себя, занимаясь не тем, не так и не вовремя.

Удастся ли ленинградцам эта первая в истории мировой психологии попытка?

«Посмотрим, посмотрим, пусть пройдет еще несколько лет»,— так отвечают нетерпеливым на факультете.

КРАН

Стресс у ленинградских психологов оказывается инструментом для познания фундаментальных законов человеческой психики. И потому их исследования выпадают за рамки обычных работ, ведущихся в разных лабораториях страны. И потому в рассказе о ленинградских экспериментах невозможно выделить только стресс.

Чаще же всего изучение стресса разбито по профессиям. Машинисты тому пример. Машинисты — это стрессовая профессия.

Стрессовых профессий много.

Мы ходим по улицам, смотрим по сторонам. Сколько нам попадается на глаза за день подъемных кранов? Много? Очень! 7 миллионов человек, говорил в своем докладе на XXIV съезде партии Алексей Николаевич Косыгин, работают сейчас на стройках страны. Везде идет стройка, и везде стоят краны, и везде высоко, метрах в пятидесяти от земли, в корзине-кабинке подвешен к небу человек. Называется он крановщик. Крановщиков в нашей стране сотни тысяч. В любую погоду — в дождь, слякоть, метель — днем и ночью работают подъемные краны. В любую погоду вверх-вниз ходит стрелка. Неосторожное движение — стрелка может обрушиться, крановщик погибнет. Этого почти не бывает. Но может быть: крановщик живет под постоянной угрозой аварии. Как это отражается на его психике?

Группа московских психологов провела такой эксперимент.

У испытуемых крановщиков снималась реонцефалограмма. Обычные методы регистрации мозговых процессов очень громоздки, они требуют сложной аппаратуры и длительной обработки результатов. Метод, предложенный московским психологом Пушкиным, предельно прост. Он основан на принципе так называемого мостика Уинстона, где одно плечо — это расстояние между электродами на голове. На ленте записываются колебания сопротивления электрическому току.

Если во время съемки реонцефалограммы предлагать людям задачи, сразу будет видно, как работает исследуемая область мозга.

Решение задачи во время эксперимента — это уже стресс. Пульсовая волна меняет свой рисунок. Когда же наступает покой, успокаивается и пульсовая волна.

Вениамин Ноевич Пушкин проводил эксперимент с группой крановщиков, ребятами 1947 года рождения. Без всяких задач они показали на реонцефалограмме такой же результат, какой другие группы испытуемых выдавали при стрессе. Это означает, по-видимому, что крановщики живут в постоянном нервном напряжении.

...Конференц-зал Института психологии — прекрасное место для разговоров. Круто вверх к самому потолку поднимаются ряды скамей, в разных концах зала сидят и шепчутся люди, по двое, по трое, обсуждают разные деловые проблемы: институт старый,

построен еще до революции, тогда, может быть, психологам было здесь просторно, а сейчас так тесно, что и поговорить-то толком негде. Вот и остается в запасе для доверительных и прочих бесед только конференц-зал.

Я сижу на самой нижней скамье. Пушкин стоит у рояля, в углублении, правая рука за лацканом черного пиджака.

— Вы понимаете, — говорит Пушкин, — наш метод оказывается универсальным способом регистрации любого стресса. Не верите? Думаете, я увлекаюсь, как всегда? Посудите сами. Все получается очень быстро. Делаем реоэнцефалограмму, расшифровываем. И определяем, в каком состоянии человек.

— Значит, вы просто констатируете?

— Ну конечно, только констатируем. Почему человек в хроническом напряжении, это уже не нам решать. Хотя с крановщиками мы придумали кое-что; например предложили использовать радиоуправление; словом, дали рекомендации.

ТРАКТОР

В рекомендациях психофизиологов и психологов нуждаются профессии, которые со стороны кажутся не просто спокойными — прямо-таки идиллическими. Для непосвященных все связанное с сельским хозяйством, с обработкой земли — сплошная идиллия. Сидит себе в кабине тракторист, пашет, солнышко светит, птички поют, как хорошо! Скорость смехотворная — 8—10 километров в час, в будущем, в проекте, — только 12. Где здесь траты психической энергии, где здесь опасности, какие психологические проблемы таятся в системе «человек — трактор»? Человек — башенный кран, тут все ясно, а трактор, прилипший к земле, рожденный ползать...

И вот выясняется: система «человек — трактор» совсем не безобидна. И проблема далеко не безобидная. Трактористов в нашей стране несколько сот тысяч человек (в девятой пятилетке тракторный парк увеличится на 27 процентов), их здоровье — проблема государственного масштаба. А трактор — это огромные психофизиологические нагрузки: шум двигателя, тряс-

ка, перегрев кабины. И в окно кабинки виден один и тот же пейзаж: от зари до зари, несколько месяцев в году. Трактор — это одиночество; случись что в поле, тракторист знает: быстрой помощи ждать неоткуда. Прямых опасностей во всем этом как будто нет. Есть опасности накапливающиеся. Медленно накапливающиеся тревоги тела. Шум — это стрессор, вибрации, одиночество тоже. А жара в кабине?

Вот уже десять лет Лаборатория охраны труда при Министерстве сельского хозяйства занимается изучением специфики работы трактористов. Идиллическая картинка — трактор в поле — лежит сейчас на пересечении интересов почти двух десятков профессий: психологи, социологи, врачи, инженеры, демографы, математики, юристы — огромная экспериментальная работа. Это и социологические исследования, анкета, состоящая из ста с лишним пунктов, где учтено все: тряска, пыль, выхлопные газы и сколько километров от дома до места работы, и каким транспортом добираться до работы, и сколько на это уходит времени, и организация питания в обеденный перерыв.

Это и повышенное внимание к чисто климатическим, географическим условиям (часть общей проблемы, волнующей сейчас физиологов и психологов: огромная страна, где идет активное освоение новых площадей — Севера, Сибири, Дальнего Востока, где человека ждут часто суровые и всегда непривычные условия жизни. Как реагирует на них психика? Как подготовить человека к предстоящим переменам?).

Это и медико-психологические обследования молодых ребят — трактористов, пятидневный эксперимент по изучению накопления усталости.

Это и теснейшее сотрудничество с конструкторами и инженерами при создании новых марок машин. Сотрудничество, пожалуй, не самое удачное слово, потому что оно мало напоминает тихие кабинетные беседы. Скорей это битвы с промышленниками, бои в защиту трактористов. Бои, во многом уже выигранные: почти снят шум в новых моделях тракторов, нет изнурительной жары в кабинах, поставлены кондиционеры, большое внимание уделяется эстетике ручек и сидений. Идет активная борьба с несчастными случаями. В одной из Прибалтийских республик работает система анализа и предупреждения травматизма: на электронно-вычисли-

тельную машину подаются все случаи травматизма по республике. ЭВМ предупреждает об опасности: в таком-то районе участились случаи аварий, есть жертвы. В чем дело? Может быть, сменился состав трактористов, или получены новые марки машин, или прошли сильные дожди, почву размыло, снесло мосты? Словом, ЭВМ предупреждает — надо принимать меры.

Вот уже десять лет настойчиво, изо дня в день и на испытательном полигоне, и в конструкторском бюро, и в поле защищает лаборатория труда «интересы заказчика».

Заказчик — это тракторист, не подозревающий, что его работа — объект столь пристального исследования.

САМОЛЕТ

Один из первых в психологии, пожалуй, даже первый объект всестороннего исследования — летчики. Сами летчики и система «человек — самолет». Кабина самолета, пульт управления (стрелки приборов, высотомеры, автопилоты, цвет лампочек, формы речевой связи летчика с землей) — объекты инженерно-психологического изучения. Сам же летчик, его поведение в воздухе — объект психофизиологического и психологического исследования.

Больше всего психологи любят изучать у летчиков стресс. И если уж вам действительно хочется реально ощутить, что же значит, наконец, это холодящее, острое, как осколок стекла, слово, не миновать вам знакомства с Марищуком.

Марищук — фанатик авиационного стресса, один из первых фанатиков изучения его среди психологов. С Марищуком познакомили меня несколько лет назад на теплоходе: конференция по инженерной психологии плавала по Ладожскому озеру на остров Валаам и обратно. С тех пор собираю я папку под названием «Марищук». Папка «Марищук» становится год от года толще. Продуктивность — главное свойство, по которому меряется личность (так определяет ценность человека одна умная книжка. Правда, она почему-то не разъясняет, как мерить эту самую продуктивность), — у Марищука очень велика.

...Я опоздала, испытуемых в лаборатории уже не

было. Зато папка моя обрела живую плоть: статьи, доклады, книги оказались большой комнатой с высоченным потолком. В комнате было много рабочих столов, графиков, картинок. На возвышении, как трон, стояло кресло-тренажер.

Сидеть на тренажере одно удовольствие: «сверху видно все». Видно, как сгущается вечер, видно, как на заснеженном поле за окном бегают, тренируются студенты — ведь это Институт имени Лесгафта. Правда, ноги еле достают до педалей, а руки, руки сами, помимо всякого желания, вцепились в ручку управления. Дело в том, что я уже немножко полетала.

Сейчас у меня отдых перед решающей попыткой.

— Слушай, дай я тебя молоточком стукну. — Это Марищук позвал своего аспиранта; тот сидел за одним из столов и невозмутимо работал, не глядя в нашу сторону. — Так, так. Находим нерв, стучим.

— Видите? — Это уже мне. — Никакой реакции, все нормально. А почему у него должна быть реакция? Он не в стрессе. Это вы в стрессе. А теперь, извиняюсь, разрешите, я ударю вас. Вот это да! Ты смотри, какой хоботковый рефлекс! Классический. Слушайте, а вы, может, знали, а? Может, нарочно губы-то трубочкой вытянули, уж очень натурально получилось.

Я вам уже говорил однажды, помните, стресс — великая вещь. Вот он, голый человек!

— Кто, я?

— Конечно, вы, а кто же? С вас, как с дерева, все листья слетели. Человек, то есть вы, простите меня за красивые слова, провалился у нас на глазах в глубь тысячелетий. У вас сейчас губа взлетела, как у них, у обезьян, прямо выше носа. Здорово ведь, а? Нет, это вам не понять, это радость экспериментатора, когда так чисто получается. А что я особенного сделал? Ничего особенного, стукнул молоточком, которым врачи по коленям стучат, возле носа — и получился хоботковый рефлекс. Давно его в обычной жизни не бывает.

Нет, правильно я о вас догадался. Не стал снимать вегетатику. Зачем здесь давление, кардиограммы, не нужны здесь датчики. Один удар — и все ясно.

...Только что я вела по курсу самолет, которого нет. Курс на стенде: два острых угла, а между ними полукружье. У марищуковских испытуемых, у курсантов, семь таких полетов, семь попыток. Потом решающий

опыт. Я не курсант. У меня их три. После третьей подошел Владимир Лаврентьевич и ударил молоточком.

— Ну вот. Поглядим, какую вы покажете деятельность при такой вегетатике. Начинаем. Запомните, вдоль пути будут загораться лампочки — чем быстрее, тем быстрее управляйте и вы. Две секунды задержки в зоне опасности — удар током. Ну, полетели.

Смотри, ничего идет, а? Кто бы подумал! Просто хорошо идет. Внимательней, внимательней, ударю током. Тока боитесь?

— Ужасно!

— Ничего, ничего. Мы током не убиваем. Больно будет, это да. Полетела обратно. Хорошо, хорошо. Все, приехали. С возвращеньицем! Идите сюда. — Владимир Лаврентьевич зовет сотрудников.

Собираются. Все один к одному — гренадеры. Все равно я выше всех на своем кресле-троне. Кресло-трон! О господи! Вот бы сейчас сюда древнего голого человека, того, с хоботковым рефлексом. Вот бы он полюбовался, во что превратились ритуальные кресла. Смел ли он мечтать, тот, первый, кто изобрел трон для возвышения одного человека над другими, смел ли он мечтать, что трон превратится в обыкновенный стул, а вождей начнут различать по каким-то совсем другим признакам! А кресло-трон обретет тысячи обличий.

К моему трону тянутся, например, провода, могут ударить током. Ну и что? Бывает и хуже.

— Ну вот, — Владимир Лаврентьевич указывает на меня рукой, — перед вами, товарищи, типичный пример сильного типа нервной системы. Вегетатика плохая, отвратительная, прямо скажем, но есть цель, есть мотив. Раз есть цель — есть работоспособность. Между прочим, — тут он любезно повернулся ко мне, — током ударить я вас просто не мог. Уже вечер, институт обесточен. Это я вас пугал, создавая психологический фактор.

Теперь вопрос. Что может стать с вами и вам подобными, если вы будете летать? Отвечаю. Скорей всего через десять лет, не позже, извиняюсь за прогноз, у вас появится язва, стенокардия или попадете в аварию. Может, разобьетесь. Психологически в летчики не годитесь. Платите больно дорого. А организм не дойная корова. Такое мое мнение. Понятно?

— Понятно. Но мне вдруг захотелось в летчики! Одно дело, когда сам не хочешь, а другое, когда не можешь. Сразу этого хочется, понимаете?

— Так вы огорчились? Ребята, смотрите, — это он своей команде, которая начала было расходиться по своим рабочим местам, — как нехорошо получается. К нам женщина с чистым сердцем пришла, а мы ее обидели. Зря вы это, правда. Вы же просто не понимаете, какие у вас хорошие результаты. Главное — это взлететь соколом, орлом. Есть такие, что и взлететь-то не могут. Так, не человек — каша. А раз взлетел, дальше уж все равно, можно и разбиться. Вы же сможете летать, сможете целых десять лет!

Мы на этом тренажере курсантов проверяли. Если что не так, тоже расстраиваются. Но у них это понятно. Рушится мечта жизни, а вам что? У нас с ними такие случаи бывают. Один от страха руль вырвал, как вцепился в него, так прямо с мясом. Куда ему в воздух! Мы ему, можно сказать, жизнь спасли тем, что не пустили учиться дальше, а он сидит и ревет.

Что делать! Из своей шкуры не выскочишь.

А вначале неохотно слушали наши советы. Был у меня эксперимент в одном летном училище. Отбраковал я десять человек, написал их фамилии, положил списочек в конверт, запечатал. Один конверт — начальнику училища: вскрыть через год. Другой на хранение в наш институт. Проходит год — вскрывает начальство пакет; я весь дрожу: если ошибка, все дело под ударом. И что же? Все точно. Эти десять — самые плохие курсанты. Я за ними десять лет следил, ездил каждый год на аэродромы, смотрел, что происходит. Можете, конечно, не верить, но в этом году вся моя выборка исчерпалась до одного. Честное слово! Что с ними стало? Разное стало.

А вот, посмотрите, диаграмма на стене. Да-да, можете слезать с тренажера. Подождите, я с вас провода сниму. Так вот. Эта диаграмма, видите, три столбика: розовый — летать будут, зеленый — не очень-то, но подучим, полетят, желтый — вряд ли. Это наш прогноз. А вот то, что сбылось. С восьмерыми мы ошиблись, видите? Они полетели, но какой ценой... Смотрите, здесь тоже отражено. Допустим, курсанту, чтобы доверить ему управление самолетом, нужно сто часов.

— Сто? Так мало?

— Много или мало, это несущественно. Сто — цифра абстрактная, ну сами понимаете, из каких соображений. А этим восьмерым понадобилось сто тридцать три часа воздуха.

— Не такая уж большая разница, Владимир Лаврентьевич.

— Это по-вашему небольшая, а по-нашему — огромные деньги, миллионы. Так что, как ни кидай, не нужно человеку летать, если на роду у него не написано.

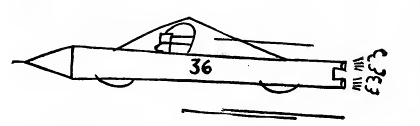
Ах, жалко, нет у нас сейчас настоящих экспериментов в воздухе, мы бы вам показали стресс! Этот тренажер что? Это легкий намек на то, что происходит в воздухе. Почти сутки непрерывного полета на сверхзвуковом самолете, как вам это понравится, а? Тут бы вы увидели все фазы стресса: и подъем, и постепенный распад. Функции выпадают постепенно, одна за другой; очень эффектно получается, знаете, веером. Внимание, память слабеют. Пять слов человек запомнить не может. Вот это стресс. Одно у летчика остается — скорость держит. Это уже рефлекс. Это он знает. Сбавишь скорость — упадешь. А дозаправка в воздухе? А учебное бомбометание? Тут уж ясно, кто чего стоит.

— Владимир Лаврентьевич, значит, можно совершенно четко предсказывать, да?

— Кто это вам сказал? Четко предсказывают только жулики. Мы предсказываем вероятностно. Человек, знаете ли, зыбкое существо. Сказать о человеке что-то точно невозможно. Да и не нужно, наверное.

— Уже поздно. Пора уходить.

— Пора, пора, конечно, — соглашается Владимир Лаврентьевич — Мы вас до ворот проводим, хорошо? А то нам с ребятами еще кое-что обсудить надо.



Глава третья

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ

ЖЕНЩИНА ПОЛОСКАЛА БЕЛЬЕ

Путешествие по стрессовым профессиям может стать бесконечно долгим. Прервем его и зададимся простым вопросом: что такое стресс в обыденной жизни, почему он возникает и нужно ли с ним бороться и как?

В лаборатории дифференциальной психологии Ленинградского института социальных исследований работает Капитолина Дмитриевна Шафранская. Несколько лет назад она проводила исследования в ожоговой клинике: изучала причины аварий.

...Женщина полоскала белье. От дровяной колонки у нее вспыхнули полы халата. Вместо того чтобы кинуться в ванну, полную воды, она побежала в комнаты.

Пожар. Дом в огне. Женщина прячется под кровать и ждет, когда пожар кончится.

Несколько сот больных обследовала Шафранская. Несколько сот историй болезни услышала она, невероятных, нелепых историй, исход которых вовсе не должен был стать столь трагическим. А в клинике у тех же больных она наблюдала иные проявления стресса. Ожоги связаны не только с болью (боль рано или поздно пройдет): человек обезображен. И это останется навсегда. Изувечены лицо, руки, тело. Как выйти на улицу? Как воспримут увечье близкие? Ведь может разрушиться вся жизнь, если у тебя теперь не лицо, а маска, если надо ходить в темных очках, если ты внешне уже не ты. Примут ли тебя такого те, кто тебе дорог?

Врач входит в палату, где лежат больные с приблизительно одинаковой степенью ожоговой болезни. Их одинаково лечат. Но заживает у всех по-разному. Не только потому, что бывают люди физически сильные и слабые, выносливые и нет. Дело прежде всего в состоянии психики. Дело в стрессе. Любая болезнь — это отчуждение от всех. И каждый в одиночку решает свои проблемы. Они связаны не с самой травмой, не с тем, сколько сантиметров и где обожжено, а с внутренним отношением к этим сантиметрам, с тем, как больной оценивает свою ситуацию.

Стресс и болезнь. Их взаимовлияние. Это сложная научная проблема. Но как трудно бывает отделить одно от другого в реальной ситуации, когда проблема

ставится не абстрактно, когда это не лаборатория с экспериментатором и испытуемым. Когда трагический экспериментатор — жизнь.

С ранней юности помню я историю, которую рассказала моя тетка, старый, опытный врач. Теперь-то я понимаю, она исподволь готовила меня к жизни, к тому, что может позволить себе человек в эмоциональном плане, а чего нет, потому и вспомнила эту давнюю историю.

В научно-исследовательском медицинском институте, где Татьяна Борисовна Никифорова работает всю жизнь, в терапевтическом отделении лежал больной.

— Он был шахтер. Из Подмосковья, удивительно славный человек. С ним вместе в палате лежал старый хирург, сердечник, вылитый Дон-Кихот. И вот однажды оба они расчувствовались и проговорили всю ночь. Шахтер рассказал соседу свою жизнь.

На фронте он был ранен, с поля боя его вынесла медсестра. Они полюбили друг друга и остаток войны провели на фронте вместе. После войны он вернулся в семью: дома ждали дети. А с этой женщиной, с медсестрой, они изредка встречались. Не могли они друг друга не видеть — слишком многое их связывало. И так продолжалось с 1945 года, подожди, сколько же лет? Да, девять лет. Ну, а потом все выяснилось. Надо было что-то решать. Написал он той женщине письмо, что любит на всю жизнь, что дети, сама знает, не один ребенок, много их, детей, и все еще маленькие. Написал и начал тут же хворать, хвататься за сердце.

Местные врачи ничего не понимают. Привезли к нам. Лежит у нас, мы считаем: невропат, мнительный, боится болей — боли начинаются. Проговорили они с Дон-Кихотом всю ночь, а под утро наш шахтер умер, за полчаса.

Умер! А сердце абсолютно здоровое, острый спазм, острая коронарная недостаточность. Умер от стресса, не с чего было больше умирать. Спазмы у него, очевидно, и раньше бывали, только так быстро проходили, что мы не успевали их ловить. А тут ночной разговор, вспомнил он все сначала — и смерть...

Это я к тому, девочка, что от стресса умирают.

— Почему это от стресса? — возмутилась я тогда со всем максимализмом неполных шестнадцати лет. — Он от любви умер.

— Вообще-то, конечно, от любви, но тогда, в ту ночь, в тот час, от разговора он умер. Поняла?

Не все, далеко не все может позволить себе человек в «эмоциональном плане». Даже если он двух метров роста, даже если он прошел войну и, казалось бы, уже ничего не боится.

Позволить, не позволить — наивные категории. Смешные запреты. Мы привыкли: такова литературная традиция, от любви умирают Вертеры, тонкие, хрупкие натуры, а тут немолодой шахтер, подмосковный город и никакой романтики, одна грустная проза жизни. И никакого выхода, и никакой надежды помочь. Разве что-нибудь изменилось бы, если бы доктора узнали правду? Разве они смогли бы запретить своему больному думать о войне, об этой женщине, о детях? Много бы лет он прожил или умер бы довольно скоро от острого, ранящего сердце воспоминания? Кто это предскажет?

Это судьба человека сильного и цельного. Таких людей мало. Таких людей обычно и поражает стресс.

А чаще всего в стрессе люди ведут себя и смешно, и глупо, и не верится потом: да я ли это, да со мной ли такое приключилось? Это своеобразный психологический заслон. А может быть, нелепость поведения оказывается спасительной? Она разряжает драматизм ситуации? Может быть.

...В Москве, в Сокольниках, неподалеку от метро стоит голубая церковь. Построенная в начале XX века, она знаменита тем, что там хранится бывшая главная московская святыня — Иверская икона божьей матери. Да, да, та самая, многократно описанная в русской литературе. Когда я бываю в Сокольниках, я захожу к Иверской, захожу и к Трифону, второй, не менее известной достопримечательности сокольнической церкви. С именем Трифона связана обычная церковная легенда о чудесах и видениях.

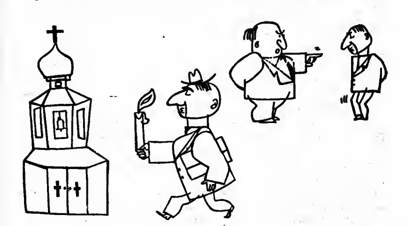
Был Трифон сокольничим Алексея Михайловича, и улетел у него любимый сокол царя. Трифона посадили в застенок, пытали. Сокол от этих пыток обратно, естественно, не прилетел. Накануне казни приснился Трифону вещий сон, где найти сокола. Он указал место, сокола нашли, сокольничего помиловали. От всех своих переживаний ушел Трифон в монастырь, где принял сначала малый постриг, потом большой, потом дал са-

мый трудный обет — обет молчания. Долгое время считали Трифона народным святым, канонизировали его только в XIX веке. Вот уже почти триста лет Трифон — покровитель всех, у кого неприятности по службе. У тебя нелады с начальником — поезжай к Трифону, поклонись, поставь свечку. И ездят, и ставят, и бьют поклоны до сих пор. Видела своими глазами.

Однажды при мне влетел в церковь довольно молодой человек: костюм с иголочки, в одной руке шляпа, в другой — папка с «молниями». Торопился он ужасно. И занимал, видно, довольно солидный пост. Оставил, наверное, такси за два квартала и пробирался тайком, проходными дворами. Бойко, по-деловому, купил свечку за пятьдесят копеек и на цыпочках поспешил к Трифону. Скорей, скорей зажег свечу и выбежал из церкви. Вся эта деловая процедура заняла минуты две, не больше: в церкви было совсем мало народу, никто не мешал.

Конечно, он был в стрессе, этот молодой служака, что и говорить. И неприятности, видимо, были стоящие тревоги, в лице у него что-то мелькало, когда он бежал со шляпой в вытянутой руке. Но в лице его можно было прочитать все что угодно, кроме божественной просветленности, и уж совсем не было в нем веры.

Коренной москвич, из семьи, где такие вещи знали, он, очевидно, в минуту полной растерянности вспомнил старую легенду и в панике помчался к Трифону. Трифон, должно быть, принес ему облегчение. Это бы-



ли не воспоминания о потерянной любви, это была деятельность, своего рода разрядка. А может быть, немножко и детская надежда?

Что это было на самом деле? Какой могучий стресс привел его сюда? Так хотелось спросить! Но его поклон Трифону был столь кинематографически стремителен, что я даже не успела собраться с духом.

СТРАХ, РАДОСТЬ, ПЕЧАЛЬ

Вспомнила Трифона — и сразу всколыхнулись в памяти многочисленные споры о стрессе. Спорили психологи, изучавшие стресс в эксперименте, спорили психиатры, чьи пациенты нередко жертвы чрезмерных психических нагрузок, спорили руководители крупных предприятий, заинтересованные в том, чтобы на заводах и фабриках было как можно меньше несчастных случаев. Наконец, спорили литераторы.

Итак, они спорили. Одни утверждали, что человек вообще не знал прежде таких состояний, не знал тех сокрушающих минут, которыми изобилует современная жизнь. Другие, по большей части философы, возражали, что человек не изменился нисколько и все, что с ним случается сейчас, уже бывало прежде, и все, что будет, тоже уже было. Кто прав? Что знал и чего не знал до нас человек в плане острых стрессовых реакций? Какие удары подстерегали его в древности?

Стресс — это страх. Разве в древности страхов было меньше? Не было четко организованных цивилизацией опасностей — крушений поездов, наездов машин, аварий самолетов. Зато был другой страх, и нам не понять его — страх, разлитый в воздухе, сопутствовавший человеку от рождения до смерти, страх перед враждебными силами природы, эпидемиями, дурными знамениями. Человека всегда терзали страхи. Прежде они шли на людей извне. Может быть, с «вечными страхами» привыкали жить?

«— Куда ты идешь? — спросил восточный пилигрим, повстречавшись с Чумой.

— Я иду в Багдад. Мне нужно уморить пять тысяч человек.

Несколько дней спустя тот же пилигрим вновь встретил Чуму.

— Ты сказала, что идешь в Багдад, чтобы уморить пять тысяч народа, а вместо того ты убила пятьдесят тысяч, — упрекнул он Чуму.

— Нет, — возразила Чума, — я погубила только пять тысяч, остальные умерли от страха...»

Известная средневековая притча.

А вот еще одно свидетельство. Описывая комету, появившуюся на небосклоне в 1520 году, современник замечает: «Эта комета была так страшна, что повергала людей в ужас. Многие умерли — кто от страха, кто от болезни».

Наконец, история совсем другого рода. Средневековая хроника, поэтичный рассказ о том, как в городе, пораженном чумой, девушка и юноша любили друг друга. Было безумием выходить из дому, когда кругом валялись горы трупов, и все живое, все, что могло еще двигаться, в панике бежало вон из города. Но любовь этих двоих была тайной: вместе бежать они не могли, расстаться тоже. Каждый вечер, минуя горы трупов, она бежала к своему возлюбленному. Каждый вечер они ждали смерти, но та не приходила.

Кончилась чума, люди вернулись в город и с удивлением обнаружили, что во всем городе осталось все-таки два живых человека — он и она. И люди сочли это великим чудом и знамением божьим.

Почему же они уцелели в чумном городе? Прежде всего им, конечно, повезло: их пощадила эпидемия. Все остальное они сделали сами. Они не испугались. Они были бесстрашны, потому что любили. И они выжили.

Правда, как отмечал еще великий врач древности Гален, радость, счастье, любовь вовсе не всегда благодетельны для организма, так же как острая печаль. Гален утверждал, что можно умереть не только от страха, но и от радости. Он даже уточнил: это свойство мужчин — умирать от радости.

Женщины от радости только падают в обморок. Если отнестись к словам Галена всерьез и обратиться к литературе, выяснится, что он ошибался. Античные историки приводят множество примеров внезапной радости, приводящей к смерти. Смерти женщин.

Тит Ливий в своей книге «Война с Ганнибалом», в главе «Смятение и отчаяние в Риме», рассказывает: «Знаменитая Тразименская битва — одно из самых памятных бедствий в истории римского народа. Пятна-

дцать тысяч римлян полегли в бою, десять тысяч спаслись бегством и рассеялись по всей стране, пробираясь кто как мог в Рим. Слухи о поражении наполнили Рим страхом и смятением. Несколько дней подряд у городских ворот стояло несметное множество людей: они ждали своих близких или хотя бы вестей от них. Стоило появиться путнику, как его тотчас обступали стеной и до тех пор не давали двинуться дальше, пока не выспросят все по порядку. И одни отходили ликуя, а другие — заливаясь слезами. Рассказывают, что одна женщина, увидя сына живым и невредимым, умерла от радости в его объятиях тут же у ворот. Другая сидела у себя, справляя траур: ей передали, что сын погиб, — вдруг он входит в комнату. Мать не смогла ни подняться навстречу, ни хотя бы вымолвить слово приветствия: она мгновенно испустила дух». (Тит Ливий имел право ничего не знать про «акцептор действия» Петра Кузьмича Анохина, про особый физиологический аппарат предвидения, предвосхищения, с помощью которого человек прогнозирует свое ближайшее поведение. Женщины Тита Ливия умерли не от радости — от психологической ошибки: неожиданность разорвала их как бомба.)

...Комментируя высказывание Галена о случаях смерти от радости, автор известного труда об эмоциях, вышедшего сто лет назад в Лондоне, с грустью заметил (разумеется, он тоже понятия не имел об «акцепторе действия»): «Это правило справедливо, но с той оговоркой, что теперь, когда эмоции гораздо менее сильны, чем в старые наивные времена, очень редко умирают от радости». Больше от горя и от страха.

Не правда ли, приятное и вечное заблуждение! Каждому поколению время его представляется сложным и «не наивным». 70-е годы XIX века кажутся нам сплошной идиллией. Автору психологических этюдов чудилось, что земля трясется у него под ногами. Только что кончилась франко-прусская война. Только что пала Парижская коммуна. А конец XVIII века, а наполеоновские войны в начале XIX века?

Тут невольно вспоминаются обстоятельства смерти могущественного врага Наполеона, врага номер один, английского министра Вильяма Питта. Питт был неистов в своей ненависти к Наполеону. Он боролся с ним всеми возможными средствами. И когда коалиция евро-

пейских государств, организованная и вдохновленная Англией, потерпела поражение на аустерлицких полях, английский парламент обвинил Питта в гибельных иллюзиях, в том, что миллионы английских денег выброшены на ветер, в том, что коалиция действовала бездарно и несогласованно. Питт не выдержал нервного потрясения, заболел и слег. А спустя несколько недель скончался. «Аустерлиц убил самого упорного и талантливого врага Наполеона» — так говорили современники.

Да, делает вывод наш автор, люди стали слабы и впечатлительны. Даже великие люди!

...Старые истории, собранные Хэком Тьюка в книге «Дух и тело, действие психики и воображения на физическую природу человека», можно пересказывать долго и с удовольствием. Исторические анекдоты, прокомментированные добрым человеком, — приятное чтение.

Но вот прошло лет двадцать после выхода книги Хэка Тьюка, и профессор Ланге в психофизиологическом этюде «Эмоции», подводя итоги своим размышлениям, записал: «Эмоции суть не только самые важные факторы индивидуальной жизни. Они представляют собой самые могущественные естественные силы, какие мы только знаем. Каждая страница истории народов, как и отдельных лиц, свидетельствует об их непреодолимой власти. Бури страстей погубили более жизней и разрушили более стран, чем ураганы; их потоки потопили больше городов, чем наводнения, а потому нельзя не находить странным, что они не вызвали большого рвения для изучения их природы и сущности».

Экспериментальная психология только зарождалась, создавались первые лаборатории, ставились первые опыты, появлялись и первые теории эмоций.

Но должно было пройти еще почти полвека, прежде чем изучение острых психических состояний привело к созданию во многом спорной, но достаточно завершенной теории.

СИНДРОМ «ПРОСТО БОЛЕЗНЬ»

В 1926 году студент-медик Ганс Селье впервые переступил порог клиники. Начиналась его первая студенческая практика. Он ходил, смотрел на больных, по-

могал врачам. И все время его не оставляла в покое настолько простая мысль, что он стеснялся в ней признаться: почему все больные так похожи друг на друга — вернее, почему так похожа их реакция на болезнь? Люди страдают от самых разных недугов, но картина болезни одна и та же — человек теряет аппетит, худеет, падает интерес к жизни вне сферы болезни. Само выражение лица уже доказывает — человек болен.

Что это за синдром «просто болезнь», как назвал свое наблюдение Селье? Как недавно вспоминал сам Селье, «...подхлестываемый юношеским энтузиазмом, я хотел безотлагательно приняться за работу. Однако запас знаний второкурсника позволил мне разве что сформулировать саму идею, которая мало чем отличалась от умозаключений наших доисторических предков. Чем глубже я постигал частную патологию, тем прочнее забывал свой простой, но неопределенный план — исследовать синдром «просто болезнь».

Не будем подробно останавливаться на том, как Ганс Селье учился в университетах Праги, Парижа и Рима, как в двадцать два года он стал доктором медицины, а в двадцать четыре — доктором философии. Скажем только одно: он добился своего. Он расшифровал таинственное сходство, делавшее всех больных похожими друг на друга. Он нашел для этого сходства удачное слово — стресс.

Но почему все началось с клиники, с больных? История науки с большим трудом отвечает на подобные «почему». Здесь редкий случай: ответ не только возможен, но и легок. Болезнь — самая демонстративная модель крайнего выражения стресса.

Селье выделил в стрессе три фазы. Первая — «реакция тревоги», это время мобилизации всех защитных сил организма. Что-то произошло внутри человека или вовне. Организм отвечает. Его ответ легко регистрируется лабораторно: клетки коры надпочечников выбрасывают содержимое секреторных гранул в кровяное русло и полностью лишают себя запасных материалов. Кровь сгущается, содержание ионов хлора падает, происходит общее истощение тканей.

Вслед за первой наступает вторая стадия. Организм «привыкает» к стрессу, физиологически это тоже яв-

ственно заметно: кровь разжижается, концентрация хлора в ней увеличивается. Вес тела возвращается к норме. Все как будто бы налаживается.

Но если стресс продолжается долго, неизбежно наступает третья стадия — «стадия истощения». Если стрессор, причина, вызвавшая стресс, слишком силен, эта стадия может окончиться смертью. Ибо, как пишет Селье, «адаптационная энергия всех живых существ есть величина конечная».

Вот какие грустные и вместе с тем убедительные выводы получила наука много лет спустя после того, как безвестный юноша пришел в одну из клиник Вены на обычную студенческую практику. Его выводы дали много нового и медицине, и психологии.

Медицина, надо сказать, привыкала к ним с трудом. Врачам нелегко было принять и в самом деле слишком простую и, главное, носящую слишком общий характер идею о том, что у огромного числа болезней причина — нервное напряжение. И еще: одна и та же болезнь может быть вызвана бесчисленным количеством причин. Но при этом все причины схожи между собой, все они носят чисто стрессорный характер.

В своих работах Селье в качестве примера любит приводить язвенную болезнь. Отчего она столь широко распространена? Как возникает? Язву может спровоцировать множество причин: и ожог, и отравление, и переохлаждение, и перегрев, и нервный срыв. Но в основе всегда одно — неожиданность.

Селье объяснил еще одну новую для медицины вещь: взаимоотношения болезни и стресса двояки — стресс может вызвать болезнь, но и болезнь способна вызвать стресс.

А что принесло учение Селье психологам? Ответ на это очередное «почему» тоже прост. Теория Селье подоспела очень кстати.

40—50-е годы — это годы, когда резко возрастало количество стрессоров, когда рождались принципиально новые профессии, где стресс становился непременным спутником труда. Оказалось, что запас чисто психофизиологической храбрости — такое же необходимое условие для работы, как для скрипача-исполнителя руки, для художника — просто глаза. Тут не о каком-то особенном таланте идет речь, а о непременных спутниках его, о возможностях его реализации. Ведь быва-

ют не только гениальные скрипачи, но и прирожденные летчики, машинисты, операторы...

Прирожденные, написала. А что же делал прирожденный машинист в каком-нибудь XIV веке? Это ощущение внутренней защищенности, это антиаварийность, быстрота реакции, противостояние стрессу... В какую деятельность могли воплощаться эти свойства? И были ли они? Не требует ли прогресс от человека чрезмерного? Ведь не всем она дана — психофизиологическая одаренность. А она нужна человечеству, чтобы самолеты летали, чтобы электровозы не сходили с рельсов, чтобы операторы отдавали правильные приказы.

Прогресс потребовал от человека много нового. Но это новое уже было, было! Оно развивалось в веках. Землепроходцы, путешественники, беглые люди, первооткрыватели в науке, наконец. Что такое их жизнь? Удары, стрессы, крушения. И почему-то победа.

А пираты? Пират прыгал на палубу чужого корабля, в неизвестность. В этот миг он выпадал из всех возможных человеческих ролей, его вел стресс. Нет, прежде всего, конечно, цели, мотивы, как сказали бы психологи. Золото? Прекрасные пленницы? Всего этого хотелось. Но ведь хотелось многим, а прыгал он, брат же его смиренно возделывал свой виноградник.

Летят пули. Но мимо одних они пролетают, будто кто-то невидимый отводит их рукой. Другим судьба дарит их беспощадно. Нечто антистрессовое командует в человеке. И он выплывает на стрессе, как на гребне волны, в тех ситуациях, где, казалось бы, должен погибнуть непременно.

«ОН БЫЛ ОКРУЖЕН ВСЕМ ОБАЯНИЕМ РОКА»

Судьба Наполеона — классический пример величайшей стрессоустойчивости. Он участвовал в шестидесяти сражениях, всегда был в центре боя и, как бы ни складывалась ситуация, оставался невредимым.

Современникам, даже соратникам, вполне трезвым, отнюдь не романтически настроенным воякам он казался заговоренным от пуль.

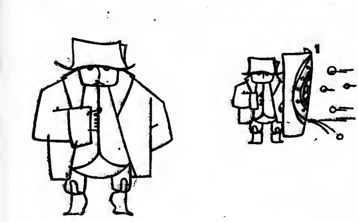
Лучше всех сказал об этом Стендаль: «Он был окружен всем обаянием рока». Великий писатель, иронично и точно чувствовавший свое время, Стендаль с

острым интересом наблюдал за великим современником. Стендалю повезло. Он проделал с Наполеоном несколько военных кампаний, он имел с ним два долгих разговора; один, между прочим, в Московском Кремле. Стендаль знал, что говорил: пули судьбы летели мимо Наполеона.

Что же это за «обаяние рока», о котором говорил Стендаль? Может быть, стоит привести только несколько примеров без всяких комментариев. Сейчас важно отсечь все остальное, что мы знаем о Бонапарте. И его любимую поговорку — «Большие батальоны всегда правы», она точно отражает ту позицию, которой он придерживался всю жизнь. Забудем сейчас и другую фразу, приоткрывающую иную грань его личности, — слова, сказанные актеру-трагику Тальма, у которого он в молодости брал уроки: «Я, конечно, наиболее трагическое лицо нашего времени».

(«Большие батальоны», «наиболее трагическое лицо» — тут есть о чем поразмыслить каждому. Ведь неважно, что о Наполеоне написаны тысячи книг, все равно мы занимаемся «проекцией», все равно, кроме общепринятого, канонического «на нем треугольная шляпа и серый походный сюртук», у каждого — свой Наполеон, если, конечно, хоть раз в жизни человек задумывался над тем, что такое история и что такое личность в этой самой истории.)

1796 год. Французская республика «защищается», нападая на итальянские владения Австрии. 10 мая.



Битва под Лоди. Маленькое местечко, но, чтобы взять его, нужно перейти речку. Мост охраняет десятитысячный гарнизон австрийцев. У моста завязался страшный бой. Главнокомандующий во главе гренадерского батальона бросился на мост под градом пуль. Двадцать австрийских орудий осыпали его картечью. Гренадеры взяли мост и отбросили австрийцев, которые оставили возле него две тысячи убитыми и ранеными.

Прошло полгода — и снова мост. Аркольский. Во главе австрийцев Альвинци, один из лучших генералов Австрийской империи. Мост охраняют отборные полки габсбургской монархии. Трижды французы штурмуют мост, и трижды отбрасывают их австрийцы. И тогда Бонапарт повторяет то, что он уже сделал в Лоди: он бросается вперед со знаменем в руках. Возле него совсем рядом падают солдаты и адъютанты. Бонапарт добегает невредимым. Бой длится трое суток с небольшими перерывами. Альвинци разбит и отброшен.

Лоди и Арколе — начало легенды о «маленьком капрале», отце солдат, делившем с ними все превратности походной жизни.

1806 год. Битва при Эйлау, одна из самых кровопролитных битв того времени.

«Русские, — пишет в своей книге «Наполеон» академик Евгений Викторович Тарле, — потеряли одну треть армии. Огромные потери были и у Наполеона. Русская артиллерия оказалась гораздо многочисленней французской».

Наполеон с пехотными полками стоял на кладбище Эйлау, в самом центре схватки, и чуть не был убит русскими ядрами, падавшими вокруг него. На его голову поминутно сыпались ветки деревьев, обламываемые пролетавшими ядрами и пулями... Тут, под Эйлау, он видел, что снова, как под Лоди, как на Аркольском мосту, наступила минута крайней необходимости. Там надо было первому броситься на мост, чтобы увлечь замявшихся гренадеров. Здесь требовалось заставить свою пехоту терпеливо стоять часами под русскими ядрами и не бежать от огня... (Совсем иной вид храбрости, не правда ли? Совсем иной вид стресса!) Он отдавал приказания через тех редких адъютантов, которым удавалось уцелеть при приближении к его позиции. У его ног лежало несколько трупов офицеров и солдат.

Пехотные ряды редели и постепенно заменялись гренадерами... Наполеон продолжал стоять и дождался удачной атаки.

Проходит еще год. Битва при Фридланде. Рисковать нет никакой надобности. Наполеон — покоритель Европы. Он лично руководит боем. Когда над его головой пролетала бомба и стоявший рядом солдат быстро нагнулся, император сказал испуганному солдату: «Если бы эта бомба была предназначена для тебя, то даже если бы ты спрятался на сто футов под землю, она бы тебя нашла».

Что это? Слепой фатализм? Стендалевское ощущение «обаяния рока»? Наполеон любил повторять: «На той пуле, которая меня убьет, будет начертано мое имя». И современники верили его словам. Да и как не верить! Ведь было же в его жизни (так, во всяком случае, утверждает легенда) и такое. Горящая бомба на его глазах упала перед одним из его «молодых» батальонов. Солдаты в страхе подались назад и с трепетом ожидали взрыва. Наполеон, чтобы ободрить молодых, неопытных солдат, пришпорил свою лошадь, подъехал к снаряду и, дав лошади понюхать горящий фитиль, бестрепетно дождался взрыва и взлетел на воздух. Он покатился в пыли вместе с изуродованной лошадью, но встал невредимым среди криков одобрения и потребовал другого коня. Пересев на него, он помчался прочь, не обращая внимания на ураганный огонь.

Так и не были отлиты ни пуля, ни ядро, на которых было бы начертано его имя. И вот отступление из России, гибель великой армии. Понял ли он в эти трагические месяцы иллюзорность своих целей? Надеялся ли он на победу? «У свиты составилось впечатление, что он тайно искал смерти».

1814 год. Битва при Арси-сюр-Об. Наполеон отправился к такому месту боя, которое было очищено от солдат, так как держаться там было невозможно. Бросились за императором, чтобы его удержать. Маршал Себастьяни сказал: «Оставьте же его, ведь вы видите, он делает это нарочно, он хочет покончить с собой». «Но ни картечь, ни ядра его не брали», — комментирует этот эпизод академик Тарле.

А эпизод времен ста дней, первый день высадки Наполеона во Франции, когда у него не было ничего:

ни войска, ни генералов, только пушка, подаренная матерью?

7 марта 1815 года он с небольшой свитой приблизился к деревне Ламюр. В деревне стоял гарнизон королевских войск. Наполеон приказал своим немногим солдатам взять ружья под левую руку и повернуть дулом в землю. «Вперед!» Он подошел вплотную к солдатам, которые замерли с ружьями наперевес, не спуская глаз с приближающейся к ним одинокой фигуры.

— Солдаты пятого полка, — раздалось среди мертвой тишины, — вы меня узнаете? — Он действительно знал своих солдат в лицо и сейчас узнал тоже.

Наполеон расстегнул сюртук и раскрыл грудь.

— Кто из вас хочет стрелять в своего императора? Стреляйте!

...Солдаты целовали его руки, колени, плакали от восторга и вели себя как в припадке массового помешательства. Их с трудом можно было успокоить, построить в ряды и повести в Гренобль. А потом они пошли дальше — на Париж.

...Что было в этой безумной храбрости? Действовал ли тут сложнейший механизм, до сих пор не разгаданный психологами, но сформулированный предельно просто в известной песне — «Смелого пуля боится, смелого штык не берет»? Или ему суждено было умереть от рака желудка на острове Святой Елены?

Читая жизнеописание Наполеона Бонапарта, поневоле впадешь в мистицизм. И забываешь новейшие психологические гипотезы, потому что обыкновенным, научным, немистическим образом трудно объяснить невероятную стрессоустойчивость этого человека. Наверное, тут нужно искать объяснения не только и не столько в психофизиологических особенностях его организма. В чем-то другом.

Во время итальянской кампании, в период битв под Лоди и при Арколе, кругом рассказывали, что молодой генерал тяжело болен. И в самом деле, сесть на лошадь стоило ему огромного напряжения, за которым следовал полный упадок сил. В пору Аркольского моста ему было совсем плохо. Он дошел до полного изнеможения. И в этом состоянии во время одной из последних битв итальянского похода он загнал насмерть одну за другой трех лошадей. «Впалые щеки и мертвенная бледность лица еще усиливали впечатление не-

взрачности, которое производил его маленький рост, — пишет Стендаль. — Эмигранты говорили о нем: «Он так желт, что на него приятно смотреть», — и пили за его близкую смерть... После Арколе физические силы молодого полководца, казалось, стали угасать, но духовная мощь придавала ему энергию, с каждым днем вызывавшую все большее изумление».

Значит, духовная мощь, воля, цели, подчинившие себе все. И прежде всего честолюбие, чудовищное, ненасытное, ревнивое. Правда, сам он его отрицал: «У меня нет честолюбия». Впрочем, далее следовало объяснение: «Оно так свойственно мне, так тесно со мной связано, как нечто врожденное, как кровь, которая течет у меня в жилах, как воздух, которым я дышу». И еще: «Я знаю только одну страсть, одну любовницу — это Франция; я сплю с ней, она при мне неотлучно, она не щадит для меня ни своей крови, ни своих сокровищ. Если мне нужны 500 000 человек, она мне их дарит беспрекословно... Моя любовница — это моя власть».

Никогда, даже после самых блистательных побед, его честолюбие не было удовлетворено до конца. Альберт Захарович Манфред в своей недавно вышедшей книге «Наполеон Бонапарт» пишет, что наиболее полное счастье Наполеон, вероятно, испытывал в дни Тильзита: «Это было как во сне — почти неправдоподобное осуществление всех мечтаний» — и подтверждает свою точку зрения словами самого Наполеона, сказанными много лет спустя на острове Святой Елены.

Да, конечно, в дни Тильзита было утоленное честолюбие (как-никак полный господин Европы), было чувство облегчения (мир с Россией был ему остро необходим). Но было ли счастье — в обычном, простом, человеческом смысле этого слова? Было ли ему вообще доступно ощущение счастья? Мог ли успокоиться человек, сказавший на другой день после своей коронации: «Я слишком поздно явился на свет. Сейчас нельзя сделать ничего подлинно великого. Карьера моя блестяща, я не отрицаю, я пробил себе прекрасную дорогу. Но какая разница по сравнению с античным миром! Взгляните на Александра: когда он после завоевания Азии объявил себя сыном Юпитера, кто, кроме... Аристотеля да нескольких афинских педантов, сомневался в этом? Весь Восток поверил ему. Ну а если бы я сейчас взду-

мал провозгласить себя сыном Отца Всевышнего и заявил бы, что хочу воздать ему хвалу и благодарение? Не нашлось бы ни одной торговки, которая не высмеяла бы меня в глаза при первом же моем появлении. Нет, нет. Народы стали слишком просвещенны. В наше время нечего больше делать».

...Итак, честолюбие. Но честолюбие еще никого не защитило от пуль. (Скорее наоборот.) Одним честолюбием заколдованность не объяснишь. Что же еще?

...В 1945 году, в конце войны, вышла работа известного советского психолога Теплова «Ум полководца». Это исследование было написано в годы войны не случайно: психология войны, секреты победы не могли не занимать психологов.

Теплов подробно разбирает ум полководца как проблему «практического интеллекта». До сих пор, пишет он, психологию занимали только вопросы абстрактного мышления. Большинство психологов сознательно или бессознательно принимали за единственный образец умственной работы работу ученых, философов, вообще теоретиков. Между тем в жизни мыслят не только теоретики. Всякая война — это прежде всего война интеллектов, интеллектов особого рода, вот что доказывал Теплов в своей работе. Ум полководца — одно из сложных проявлений человеческого ума, ибо он должен работать и принимать ответственные решения в жестких условиях дефицита времени.

Но что такое принимать решения в условиях войны? Как писал известнейший военный теоретик — Клаузевиц, «военная деятельность представляет собой совокупность действий, происходящих в области тьмы или по меньшей мере сумерек».

Довольно смутное определение, не правда ли? Но с ним вполне перекликается русский военный историк генерал Драгомиров, когда он пишет о Наполеоне: «У него была чисто демоническая способность заглянуть в душу противника, разгадать его духовный склад и намерения». Демоническая способность.. Иными словами, гениальная интуиция, провидение, вдохновение особого рода. Но тут уже Драгомирову мог бы возразить сам Наполеон. «Вдохновение — это быстро сделанный расчет», — часто повторял он.

Может быть, в этой формулировке намек на отгадку секрета наполеоновской неуязвимости? Быстро сде-

лан расчет — он выхватывает знамя и перебегает Аркольский мост таким образом, что его не задевает ни один снаряд. Первоклассный артиллерист, он-то знает, как, через какие промежутки стреляют австрийские пушки. И в эти-то промежутки он и проскакивает. Значит, расчет. Но когда он успевает его сделать? «На самом деле, — пишет Теплов, — при той скорости протекания психического процесса он (процесс) становится уже другим, приобретает иное качество, осуществляемое иными механизмами... Полководец вынужден всю работу над решением проблемы сжать в очень короткий срок, так что вся эта работа становится «осиянием», «интуицией». (Заметим в скобках, что Наполеон обладал совершенно особым складом ума. «Трудно было вообразить себе мозг более дисциплинированный, всегда готовый к услугам, способный на такую постоянную приспособляемость, такое быстрое и полное сосредоточение, — вспоминал один из его соратников. — Гибкость его в исключительном умении мгновенно перемещать способности и силы и сосредоточивать их в данную минуту на том предмете, которым он заинтересован, будь то букашка или слон, отдельная личность или целая неприятельская армия... Когда он чем-нибудь занят, остальное не существует для него; это своего рода охота, от которой его уже ничто не оторвет».)

Итак, в свойстве, которым так щедро был наделен Бонапарт, сходятся тысячи самых разнообразных проявлений личности, ее темперамента, ума, мощи, заложенной в ней от природы. В определении стресса нет и не может быть простоты.

Что же касается расплат за стресс... Были у него они или нет? В книге Моргенстерна «Психографология», вышедшей в 1903 году, воспроизводятся факсимиле подписей Наполеона под приказами по армии после решающих сражений. Вверх. вверх бегут буквы подписей молодого Бонапарта. Вверх летят после Аустерлица, кляксами взрывается гусиное перо после Бородина. На полпути обрывается подпись в приказе об оставлении Москвы. Жалкая закорючка — Лейпциг. Наконец, последняя подпись на острове Святой Елены неузнаваема: буквы не просто клонятся — падают вертикально вниз.

Дорого платил Наполеон за свои стрессы! (Запись

его личного врача накануне битвы при Бородине: «Постоянный кашель, дыхание затрудненное и неровное; пульс частый, лихорадочный, неправильный, моча мутная, с осадком, выделяется болезненно...»)

И не была присуща ему легендарная неуязвимость. Она оказалась мифом. Когда Наполеон умер, на его теле были обнаружены следы ранений, о которых никто не знал: Наполеон скрывал их, боясь посеять панику.

А когда он умер... «Я проходил мимо Пале-Рояля, — рассказывает современник, один из французских писателей, и вдруг услышал крик газетчиков: «Смерть Бонапарта!» Эти крики, которые прежде повергли бы в трепет всю Европу, звучали так обыденно! Я заходил, — продолжает он, — в несколько кафе, но везде заметил то же безучастие, то же холодное равнодушие. Никто, казалось, не был ни заинтересован, ни смущен».

Наступили другие времена. Но это уже про другое, про то, о чем мы условились не вспоминать, про «большие батальоны», про «наиболее трагическое лицо эпохи», про фразу, сказанную ему после возобновления многих церковных церемоний, сметенных революцией, одним старым республиканцем из военных в ответ на вопрос новоиспеченного императора, хорошо ли проходит церемония:

«Очень хорошо, ваше величество, жаль только, что сегодня недостает ста тысяч людей, которые сложили свои головы, чтобы сделать подобные церемонии невозможными».

Опустим и его слова, в запальчивости брошенные Меттерниху: «...я вырос на поле брани, такой человек, как я, плюет на жизнь миллиона людей».

...Появляются иногда в истории человечества личности огромной интеллектуальной и психической мощи. Как в атомном ядре, высвобождаются в них эти интеллектуальные и психические ресурсы и обрушиваются на мир. Куда бывают направлены эти силы? Во имя чего?

Размышляя о влиянии личности Наполеона на судьбы Франции, французский историк XIX века Ипполит Тэн сурово заметил: «Положительно при таком характере и с такими наклонностями невозможно жить: гений его слишком велик и слишком зловреден». Но это уже другая тема, которой мы вовсе не собирались касаться.



Глава четвертая

ЧУДЕСНАЯ ТРЕВОГА

СТРЕСС — НЕСЧАСТЬЕ ИЛИ БЛАГО?

Итак, что же такое в конце концов стресс? Полезен он или вреден?

Стресс укорачивает жизнь? Да!

Стресс провоцирует болезнь? Безусловно!

Но вспомним основателя учения о стрессе профессора Ганса Селье. Его поразило, что все болезни вызывают сходные психические реакции. А быть может, вопрос парадоксален, но не стоит от него отмахиваться, — есть болезни, которыми надо переболеть?

Почти все мы переболеваем туберкулезом, только не догадываемся об этом: мы преодолеваем его так быстро, что это уже и не болезнь. Но в нас остается знак. Знак победы. Обызвествленная точка в легких — очаг Гона. Эта точка — след той необычной дани, которую мы отдали туберкулезу.

Но вот иная ситуация. Человек, всю жизнь проживший в горах, спускается в долину. Там, в горах, стерильный воздух. Там не возникло у него гоновского очага. И человек заболевает, нет у него в запасе спасительного очага Гона.

А быть может, как очаги Гона, человеку нужны стрессы? Стрессы как своего рода прививки.

«Страх — это тоже болезнь, болезнь воображения», — обмолвился однажды Леонид Леонов. Страшно не из окна прыгнуть — страшно разбиться: страшно представить себе, что будет дальше.

Можно ли научиться ничего не бояться? Говорят, можно. Верится с трудом, но далее следует традиционное объяснение: человек продолжает бояться, но знает, как вести себя в минуту опасности. Научное объяснение: не бояться — это не представлять себе, что будет потом.

В молодости нам просто дано это свойство — не оглядываться.

И потому вся молодость — это бесстрашие. Но ведь говорят еще, что вся молодость — «это чудесная тревога». Бесстрашие и тревога. Как это сочетается? И почему молодость — это тревога? Что такое вообще тревога? Тревога — это труба, которая поет во мне, когда я перехожу. Перехожу весь я, вся армия моих клеток, мускулов, мыслей. Существует постоянство, равновесие внутренней среды человека. В науке это называется

гомеостазис. А может быть, есть нечто подобное и в духовной жизни? Стабильность, равновесие души? Но вот настал момент, я перехожу. От здоровья к болезни, от радости к тоске, от любви к разочарованию в любви. От возраста к возрасту.

Заиграла труба — начался стресс. Стресс, тревога тела — это когда начинается переход: болезнь, тоска, горе.

Бывает чудесная тревога — тревога молодости. Это когда начинается жизнь. Потому что вся молодость — это переход. Это поход в поисках самого себя. А когда ты в походе и труба трубит, разве ты оглядываешься?

Тревожное бесстрашие. Или бесстрашная тревога... Ты бесстрашен, и тебя тянет к стрессам. Вся молодость — это потребность в стрессах. Психофизиологический дар не оглядываться, щедро отпущенный нам природой. (Ортодоксальный психолог может упрекнуть меня в произвольном употреблении термина стресс. И по-своему будет прав. Есть узкое его толкование. Есть более широкое. Но как назвать это чувство — стресс или напряженность? Слово «стресс» просто ближе всего, всего правдоподобнее.)

Потребность в стрессах. Что это значит? Поиск острых ощущений? И это тоже. Жажда самоутверждения? Конечно! Поиск себя прежде всего!

И еще потребность в «избавлении». Избавление здесь можно употребить как строгий психологический термин. Стремление к избавлению, к преодолению каких-то вещей в себе и вокруг себя — признак растущей личности. Мне тесно в той клетке, где протекает жизнь. Кажется, что все заранее предопределено. Даже имя дали без моего желания.

А почему, собственно, я обязан хорошо учиться?

Все задевает. И отметки, и учителя, и родители. И мелкие неприятности кажутся космическими катастрофами и способны искалечить жизнь. Больше всего хочется избавиться от школы. От ее регулярности, то есть от уроков. Ведь это насилие над личностью — заставлять учить все уроки подряд. Какие-то предметы уже нравятся, какие-то не нравятся, хочется выбрать самому. Чтобы выбрать, надо уже в чем-то самоутвердиться. Преодолеть мир канонов, окружающий со всех сторон. Чтобы преодолеть его, хочется сделать нечто выпадающее из рамок обычной жизни.

Что там, за этими рамками? Опасность, подвиг. Но в обычной жизни, школьной, где они, подвиги?

Есть еще одна сфера — сильные чувства. Они помогут самоутвердиться в собственных глазах, а следовательно, избавиться.

Два полюса, два пронзительных ощущения, два ожидания. Два стресса. Любовь и смерть.

Совсем не страшно — в шестнадцать лет!

Наступает зрелость, и смерть становится реальностью. И потери близких — первый опыт. И хождение в крематорий — репетиция. Смерть реальна. Но отдалена. Тем больше хочется жить. Начинается страх смерти. Каждый несет его в себе. И молчит об этом. Говорят за нас, безмолвных, великие люди. Так, по дневникам и «книгам на каждый день» мы можем восстановить, как боролся с собой и своими страхами Лев Толстой, как метался он в поисках истины, как с надеждой искал в философии и религии примирения со смертью, как мечтал об одном — спокойно умереть.

А любовь? Любовь в зрелости уже была и прошла. Или есть. И если она есть, то тем страшнее жить, потому что уже знаешь: ее можно потерять безвозвратно. Ведь так много зависит не только от тебя!..

Когда мы начинаем задумываться об этом? Поздно! А пока нам даровано великое чудо — ужас ожидания. Ожидания и готовности к смерти (потому что ты-то знаешь — на самом-то деле именно ты никогда не умрешь). Ожидания любви: любовь создает ощущение бессмертия.

Потому-то, должно быть, молодость — идеал человечества. По нашим представлениям, идеал, в котором человеку надлежит пребывать вечно. Разумом мы еще можем понять: молодость — переход, всякий переход кончается, но поверить в это почти невозможно. Отвыкать приходится всю жизнь. Трудно отвыкнуть от блаженного чувства — все хочу, все могу, все легко! Впереди только счастье. Или смерть!

И герой рассказа Бунина «Митина любовь» стреляется, не в силах перенести первого столкновения с реальной жизнью.

Жизнь ужасна: девушка, которую любит студент Митя, обманула его. А Митя живет в это время в деревне, начинается весна, все в природе чисто и одухотворенно, кругом зарождается новая жизнь, а его, Ми-

тина, жизнь кончена, растоптана, уничтожена изменой. И он берет пистолет и нажимает на курок, не особенно соображая, что он делает, лишь бы избавиться от тупой, невыносимой боли.

Разве только в любви тут дело? Рушатся представления о мире, полном добра и справедливости, рушится, как сказал бы социальный психолог, его система ценностей. С этим невозможно примириться. И если мир не таков, каким представлял его себе Митя, то зачем жить в этом ужасном мире...

Значит, вовсе не так уж легко приходят к нам спасительные очаги Гона? Обызвествление кусочка души, дающее возможность жить дальше. Недаром психиатры так внимательны к молодости. Молодость — это грань, хождение по острию. В чудесной тревоге — трагическая подкладка. Прошел, миновал молодость, говорят психиатры, проживет и дальше.

Мир, если он ломает, ломает не человека, а его молодость. И если сломана молодость, сломана жизнь. «Мир ломает каждого, и многие потом только крепче на изломе». Это Хемингуэй, ночные мысли героя его романа «Прощай, оружие». Грустные мысли! Но это и мысли самого автора. Его молодость совпала с первой мировой войной. На стресс, присущий молодости вообще, наложился стресс войны.

Целые поколения прошли через этот стресс. Конечно, каждый из уцелевших в ту войну прошел этот двойной стресс по-своему. Было множество людей, получивших колоссальный иммунитет к страху, опасности, смерти. Они жили так, что, когда война окончилась, оказалось: в обыденной жизни им просто нет места, нет той точки приложения сил, в которой можно было воплотиться столь же полно, как на войне. Так родилось поколение, которое получило название «потерянного».

Естественный переход от молодости к зрелости оказался для этого поколения невозможен. Переход этот воспринимался как надлом, конец настоящей жизни.

Но если речь зашла о Хемингуэе, стоит напомнить один его разговор. Илья Эренбург вспоминал: Хемингуэй рассказывал, как его упрекали за то, что он всю жизнь пишет о неврастениках. «Я отвечал так, — сказал Хемингуэй, — бык на лугу — это здоровый парень. Бык на арене — неврастеник».

Хемингуэй действительно всю жизнь писал о людях,

поставленных в такие обстоятельства, когда они чувствовали себя на арене.

Автор книг о тех, кто вызван на арену, стал образцом для подражания. И вот уже много лет, как он умер, а ореол не рассеивается, обаяние прожитой им жизни, обаяние его героев не меркнет.

Почему так случилось? Хемингуэй искренне считал, что пишет только для тех, кто вызван на арену, и что людей этих в общем не так-то много. Не потому, что мало вызванных. Ведь есть и такие, кто и на арене (если продолжить метафору Хемингуэя) чувствует себя как на лугу: они слишком мало знают об арене и слишком много о луговой траве.

Но оказалось, что и Хемингуэй, и его первые критики ошибались: множество людей почувствовали себя вызванными. А война окончилась. И выяснилось — их никто не звал. И весь запас стрессоактивности никчемен. Эти люди никому не нужны. И вот трагедия. И вот «потерянное» поколение.

Мир Хемингуэя — особый мир. Тут слишком много замешано: послевоенная Европа, и Америка, и крушение последних идеалов гуманизма, и неустройство душевное, и кризисная экономическая ситуация.

И вместе с тем в книгах Хемингуэя, в его «вызванных на арену» есть нечто от той психологической ситуации, которая сопровождает каждую войну. Недаром большая слава пришла к писателю уже после второй мировой войны, а ведь писал-то он в основном о первой. Все было иное, и все-таки многое повторялось. Ощущение вызванности, описание того, как приходит к человеку стресс, как волна стресса несет человека и что из всего этого получается, — вот, наверное, что искали и находили в книгах Хемингуэя все новые и новые поколения читателей.

Ощущение вызванности... Их особенно-то и не вызывали, а они вышли. И когда наступает прозрение и выясняется, что был только самообман, возникают грустные ночные мысли: «Мир ломает каждого, и многие потом только крепче на изломе. Но тех, кто не хочет сломиться, он убивает. Он убивает самых добрых, и самых нежных, и самых храбрых без разбора. А если ты ни то, ни другое, ни третье, можешь быть уверен, что и тебя убьют, только без особой спешки».

Герой романа «Прощай, оружие» думает об этом

в ночи, глядя в лицо женщины, которую любит, глядя на Кэтрин Баркли. Ей тоже показалось одно время, что ее «вызвали», и она попала на войну.

...Ощущение вызванности. А что бывает, когда ощущение вызванности совпадает с исторической правдой?

В начале фильма лица героини не видно, видны только прямые плечи, спина в стандартном бостоновом костюме, угловатые, неловкие движения женской фигуры, не привыкшей к тому, что на ней что-то примеряют. Мы чувствуем, как тягостна этой женщине примерка: новый костюм — это докука, от которой следует поскорее избавиться.

А потом появляется лицо, немолодое, некрасивое, скуластое, костлявое какое-то. И неинтересные маленькие глазки. Но в глазах этих что-то задевает, в них есть невысказанность, в них прячется нечто, не имеющее отношения к происходящему на экране. А на экране живет и раздражающе активно действует женщина, директор ремесленного училища, депутат, член разных комиссий и прочая. Она резка и бескомпромиссна. Она хочет как лучше, а получается плохо. Она занята только работой, и единственная дочь боится ее, не понимает.

Какая пружина сидит в этой увядающей женщине и заставляет ее жить вот так — безрадостно, убежденно, только для других?

И вдруг мы видим ее портрет в местном краеведческом музее. Она совсем молоденькая летчица, смеется, рядом парень в военной форме. Он смеется тоже. Эта женщина, оказывается, героиня, гордость города. Ей пишут друзья военных лет и помнят ее той, с фотографии, летающей, любящей того парня.

Всего этого давно нет. Он не вернулся с войны, а она уцелела и стала такой вот — в костюме с накладными плечами, деловой, всезнающей, вызывающей неприязнь у тех, кому она благотворит.

Но откуда в зале после конца фильма «Крылья» с Майей Булгаковой это напряженное молчание? Почему в картине такой странный конец? Эта малопривлекательная женщина приходит на аэродром, садится в маленький самолет времен войны, давно превращенный в тренировочный, и улетает. Сначала она летит неуверенно, потом поднимается все выше, выше... Вернется ли она обратно? Приземлится или разобьется, еще раз

испытав счастье преодоления пространства, воскрешая в душе давно погребенное, но не забываемое, оказывается, ни на одну минуту?

Этот фильм трудно пересказывать. В пересказе в нем появляется банальность. Картина же сделана сухо и точно. И прекрасна в нем Майя Булгакова, до предела беспощадная к своей героине.

И мы, зрители, к концу фильма отдаем ей свое сердце и пробуем ее понять. Мы даже плачем: мы запоздало начинаем понимать не только ее судьбу, а судьбу близких нам людей, прошедших войну; мы начинаем осознавать, что есть в их жизни измерение, куда нам не дано заглянуть. Это второе измерение объясняет нынешнюю, не совсем понятную нам жизнь наших близких.

...Миллионы людей не вернулись с войны совсем. Миллионы вернувшихся остались там на всю жизнь. Они не обязательно сломались, как ломались герои Хемингуэя; они просто, не осознавая того, остались жить в самом насыщенном времени своей жизни.

И благополучный коммерсант из Латинской Америки, бывший заключенный, в растерянности бродит по Бухенвальду: он ничего не узнает, лагерь превратился в музей. И вдруг радостный крик: «Вот здесь был наш барак, а здесь была виселица!» И он счастливо смеется, как человек, вернувшийся в край своей молодости. «Ведь это были лучшие годы моей жизни», — обращается он к окружающим.

Лучшие годы? В концлагере?.. А вполне ли нормален этот благополучный коммерсант? Грустный психологический парадокс, но человек этот нормален. Вполне. Ведь тогда, в Бухенвальде, был ад, была смерть, был страх. Но еще была молодость, еще была солидарность, была та натянутость всех струн души, которая позволила ему выжить. А что было потом? Потом было скучно. Потом он наживал деньги, потом все было как у всех. Потом ничего не было...

Я немного отвлекусь в сторону. Известный советский психолог Петр Яковлевич Гальперин привел однажды такой пример. Пример этот не про войну, совсем про другое.

«Я смотрел фильм «Леди Гамильтон». Там нищая старуха рассказывает историю своей жизни: любовь, величие, смерть возлюбленного.

«А что потом?» — спрашивают ее. «А потом ничего не было».

Хотя потом была длинная жизнь.

Реплику леди Гамильтон, — пишет Гальперин, — можно объяснить, пожалуй, в терминах психологии. Психологи различают понятия — действие и поступок. Действуем мы бесконечно: обуваемся, садимся в автобус, обедаем. Поступок — изменение судьбы; возвеличение или гибель наших ценностей, переосмысление жизненно значимого...»

Война — это поступки, все «экстремальные», то есть чрезвычайные, ситуации в жизни человека — тоже поступки. Остальное только действия.

...Так что же, все прошедшие войну остались на войне? К счастью, все люди разные. У всех разные счеты со своей молодостью.

Латиноамериканец, ощутивший себя счастливым в Бухенвальде, после войны только наживал деньги. Скучное, бессмысленное занятие. Цель — продержаться, выжить, атмосфера братства — все это осталось в далеком прошлом. Впереди цели нет. И потому лучшие годы там, в прошлом.

За разные вещи люди боролись в последнюю войну. К разным вещам и целям вернулись. Об этом не следует забывать.

...Кроме оставшихся, есть еще в каждой войне неоставшиеся. Есть, например, победители. «Уверенность в победе усыпляет страдание» — так писали в старинных книгах. Эта старомодно-изысканная фраза всего лишь иллюстрация к проверенному статистикой факту: смертность от ран в армии побеждающей гораздо ниже, чем в армии побеждаемой. Смертность от ран телесных, душевных, всяких. И все равно у тех и у других — стресс. Его нелегко пережить. Даже победителю. Победитель берет на свои плечи все то, что разрушила война. Поколение победителей восстанавливало нашу разоренную страну, и это была высокая цель.

Так кто же героиня фильма «Крылья»? «Оставшаяся», если следовать нашей терминологии, или победительница? И почему она не сломалась? В ней много всего, как во всяком человеческом характере. А не сломалась она, наверное, потому, что ее действительно звали. И она это знала.

...Молодых поэтов, погибших в Отечественную вой-

ну — Павла Когана, Николая Отраду, Николая Майорова, Михаила Кульчицкого, тоже звали. Их позвало время. И они услышали его зов.

Уже позади был Халхин-Гол, уже была финская война, много чего уже было трудного, малопонятного. Уже были все психологические предпосылки для возникновения стресса. И он пришел. К избранным. К поэтам. Война еще не началась, но все уже было.

Уже опять к границам сизым
составы
тайные
идут,
и коммунизм опять
так близок —
как в девятнадцатом году.

Случаен ли этот год — девятнадцатый? Да нет.

В девятнадцатом году за коммунизм гибли. Скоро наступит столь же роковое время. Поколение Кульчицкого готово к смерти. По логике молодости — к бессмертию. Одно из стихотворений Михаила Кульчицкого так и называется — «Бессмертие».

На двадцать лет я младше века,
Но он увидит смерть мою,
Захода горестные веки
Смежив. И я о нем пою.

Они были готовы к гибели, твердо зная, что их страна победит.

Бывает даже у коней
В бою предчувствие победы...

За два года до 22 июня 1941 года они были в том душевном состоянии, которое у других началось только тогда, когда разразилась война.

В чем же психологическая разгадка их удивительной судьбы: раннего расцвета таланта, осознания своей миссии?

...Мое поколение —
это пулю прими и рухни.
Если соли не хватит —
хлеб намочи пóтом,
Если марли не хватит —
портянкой замотай тухлой.

Так все оно и случилось: приняли пулю и рухнули.

Не хватало хлеба. Не хватало марли. Но все это было уже без них. Они стали спичками, порохом.

Во всех воспоминаниях друзей поэтов (а в последние годы вышло несколько сборников) много добрых и горестных слов, во всех воспоминаниях определения: «Они были глашатаями того предвоенного поколения, которое приходило к поре начинающейся внутренней зрелости в конце 30-х годов».

«Они поняли свое поколение как людей, которым предстоит принять на плечи всю огромную тяжесть будущей войны».

Во всех воспоминаниях потаенное удивление: была в этих юношах некая осененность, отмеченность, которые трудно передаются словами о глашатаях, поколении, потерях, хотя все эти слова — правда. Но в этой правде нет объяснения. Не о социальном объяснении, разумеется, идет речь — о чисто психологическом.

Конечно, объяснение сложно и многозначно. Тут надо вспомнить идеалы русской интеллигенции начала века и поэзию первых послереволюционных лет — это та духовная подпочва, которая их питала. Тут надо вспомнить ощущение «осажденной крепости», в которой жил Советский Союз все эти десятилетия. Стихи, написанные в ощущении осажденной крепости, стихи, написанные людьми, убежденными в святости того, что предстоит защищать, совсем особые стихи. И при этом молодость. И при этом накал ожидания.

Они загорелись от ожидания. От святого ожидания. Они были слишком талантливы, чтобы рано или поздно не воплотиться. Но почему так рано?

Это ожидание сформировало в них так рано поэтов, ожидание настолько острое, что они знали: они не удержатся и в будущей войне погибнут первыми.

«А ДАЛЬШЕ ТИШИНА...»

На дополнительный урок литературы мы пришли в тот день в четверть восьмого утра. В школьной программе Шекспира не было, но наша учительница Суламифь Яковлевна считала, что к Шекспиру следует «хотя бы прикоснуться».

Школа работала в две смены. Мы учились в первую. После уроков оставаться было негде, и темными мороз-

ными улицами мы бегали на дополнительные уроки (нам не приходило в голову, что и она должна была поспевать к семи утра с другого конца города на ею же придуманные вовсе необязательные уроки). Собирались мы почему-то в физкультурном зале, сидели на чем придется — на матрацах, скамейках, просто на полу. Почему не в классе? Только сейчас, когда вдруг всплыл этот запоздалый вопрос, я вдруг думаю, что физкультурный зал Суламифь Яковлевна выбрала не случайно: он подчеркивал неформальность, свободу наших встреч.

В то утро она рассказывала нам о Гамлете. О том, чем был для нее Гамлет в шестнадцать, двадцать, сорок лет. О разном восприятии этого образа в разные времена. О том, как великие — Гёте, Толстой, относятся к великим — Шекспиру. Она говорила о загадочности Гамлета. Она говорила много понятного, малопонятного и совсем непонятного. А в конце спросила: «Может ли Гамлет быть вашим героем?»

Были мы, десятиклассники, подготовлены к ответу на этот вопрос? Скорей мы были подготовлены к другому, к тому, что Суламифь Яковлевна способна задавать такие вопросы. Она мало походила на обычную учительницу литературы. Более того, она была совсем на нее не похожа. Она не обращала никакого внимания на то, что называется педагогикой и методикой преподавания. Она ругала нас «непедагогичными» словами.

Я же была удостоена «высшей чести»: в меня она однажды швырнула книгой — толстым томом «Войны и мира». Как все в школе, я боялась ее до холода в груди, но на первой парте любое отклонение от правил всегда грозит неприятностями. А школьная жизнь моя ввиду хроничеси плохого поведения протекала именно на этой столь неуютной, легко просматриваемой парте. Что тогда случилось глубоко криминальное? Не помню. Помню только, как разлетелись по классу разноцветные закладки: синие — Пьер, красные — князь Андрей, голубые — Наташа. Она не попала в меня, чему заметно огорчилась.

...Больше всего ее раздражала леность наших шестнадцатилетних душ, неразвитость литературного вкуса, неопределенность привязанностей к литературе. И все-таки она добилась своего, она заставила нас полюбить литературу как самое высокое, сложное и прекрасное, что создано человеческой культурой.

Она не воспитывала нас. Но она нас воспитала. Собой. Такими вот утрами, когда, увлекшись, общалась не с нами, а с теми великими, кто «не вошел» в программу. Нет, конечно же, она общалась и с нами. Прошло много лет, прежде чем мы стали понимать, что она обращалась и к нам тоже, к лучшему в нас, едва просыпающемуся. В то утро она точно задала свой вопрос. Только так можно было спрашивать тогда у нас, только в таких категориях: «Любите, не любите, презираете, ненавидите, кто ваш герой?»

Она применила еще один психологический ход — задала вопрос и не потребовала ответа, не крикнула раздраженно свое обычное: «Ну-ну, шевелитесь живее, поднимайте руки!» Мы не подняли рук. И потому, неотвеченный, вопрос остался в памяти, он понуждал к внутренней работе, к чтению книг о Шекспире, сравнению разных переводов «Гамлета».

Зерно было посеяно. Может, потому мне и хочется сейчас вернуться к Гамлету наших шестнадцати лет? В самом деле, мог ли он стать нашим героем?

А может, нам был тогда гораздо больше сродни не Гамлет, а его прототип — Амлет, герой хроники датского летописца Саксона Грамматика, жившего в XII веке.

Амлет Саксона Грамматика — красивый, яркий, самоуверенный парень. Ах, какая это прекрасная сага, какой характер!

Исследователь Шекспира Александр Аникст так пересказывает эту старинную историю.



Датский феодал Горвендил прославился силой и мужеством. Его слава породила такую зависть норвежского короля Коллера, что тот вызвал его на поединок. Поединок закончился победой Горвендила. Тогда датский король Рерик отдал в жены Горвендилу свою дочь Геруту. От этого брака родился Амлет.

У Горвендила был брат, Фенгон, который завидовал его удачам и питал к нему тайную вражду. Они оба правили Ютландией. Фенгон решил избавиться от брата. Во время пира он открыто напал на Горвендила и убил его. В оправдание он заявил, будто защищал честь Геруты, оскорбленной своим мужем. Хотя это было ложью, никто не стал опровергать его объяснений. Владычество над Ютландией перешло к Фенгону. Он женился на Геруте.

Когда произошло убийство Горвендила, Амлет был еще очень юн. Однако Фенгон опасался, что, став взрослым, Амлет отомстит за смерть отца. Юный принц был умен и хитер. Он догадывался об опасениях своего дяди Фенгона. И чтобы отвести от себя всякие подозрения в тайных намерениях против Фенгона, Амлет притворился сумасшедшим.

Но кое-кто из придворных стал догадываться, что Амлет только притворяется безумным. Они посоветовали сделать так, что Амлет встретился с подосланной к нему красивой девушкой. Ей предстояло обольстить его и обнаружить, что принц отнюдь не сошел с ума. Но один из придворных предупредил Амлета. К тому же оказалось, что девушка, которую выбрали для этой цели, влюблена в Амлета. Она дала ему понять, что хотят проверить подлинность его безумия. Таким образом, первая попытка поймать Амлета в ловушку не удалась.

Тогда один из придворных предложил испытать Амлета таким способом: Фенгон сообщит, что он уезжает, Амлета сведут с матерью, и, может быть, он откроет ей свои тайные замыслы, а советник Фенгона подслушает их разговор. Так и сделали. Однако Амлет догадался, что все это неспроста. Придя к матери, он повел себя как помешанный, запел петухом и вскочил на одеяло, размахивая руками, как крыльями. Но тут он почувствовал, что под одеялом кто-то спрятан. Выхватив меч, он убил советника короля, разрубил его труп на части и сбросил в сточную яму. Затем Амлет вернулся к матери и стал упрекать ее за измену Горвендилу и брак с убий-

цей мужа. Герута покаялась в своей вине, и тогда Амлет открыл ей, что хочет отомстить Фенгону.

Фенгон ничего не узнал и на этот раз. Но буйство Амлета пугало его, и он решил избавиться от принца раз и навсегда. С этой целью он отправил его в сопровождении двух придворных в Англию. Спутникам Амлета были вручены таблички с письмом, которое нужно было тайно передать английскому королю. В письме Фенгон просил казнить Амлета, как только тот высадится в Англии. Пока его спутники спали, Амлет разыскал таблички и, прочитав, что там написано, стер свое имя, а вместо него поставил имена придворных. Сверх того он дописал, что Фенгон якобы просит выдать за принца дочь английского короля. Переданное Амлетом письмо возымело действие: придворных казнили, а его обручили с дочерью английского короля.

Прошел год. Амлет вернулся в Ютландию, где его считали умершим. Он попал на тризну. Ее справляли по нему. Ничуть не смутившись, Амлет принял участие в пиршестве и напоил всех присутствующих. Когда они, опьянев, свалились на пол и заснули, он накрыл всех большим ковром, приколол его к полу так, чтобы никто не мог выбраться, и поджег дворец.

Саксон Грамматик всячески одобряет своего героя: «О храбрый Амлет, он достоин бессмертной славы! Хитро притворившись безумным, он скрыл от всех свой разум, но хотя он прикинулся глупым, на самом деле его ум превосходил разумение обыкновенных людей. Это помогло ему не только обезопасить себя, но также найти средство отомстить за отца. Его умелая самозащита от опасности и суровая месть за родителя вызывает наше восхищение, и трудно сказать, за что его больше хвалить следует — за ум или смелость».

Сага об Амлете на этом не кончается. Он стал королем и правил вместе со своей женой, английской принцессой; она была ему достойной и верной супругой. После ее смерти Амлет женился на воинственной шотландской королеве Гертруде, которая была ему неверна и покинула его в беде. Как правитель Ютландии, Амлет был вассалом датской короны. После смерти Рерика новый датский король не пожелал мириться с независимым поведением Амлета, между ними возникла борьба. Амлет был убит...

Такова древняя сага.

Зачем мне понадобилось подробно пересказать Самсона Грамматика? Потому что, обнаружив полное совпадение подробностей старой хроники и великой трагедии, мы заметили совершенно потрясшую нас в те годы вещь: одни и те же поступки могут совершать совершенно разные люди — Амлет и Гамлет. Простая мысль, что в жизни так бывает, до этого как-то не приходила нам в голову И начинались оценки.

Забытый всеми Амлет — вот кто мог бы, казалось, стать героем. В те годы только-только начали появляться на наших экранах вестерны — фильмы с удачливыми, белозубыми, отчаянными героями, очень похожими на Амлета Саксона Грамматика. Он образец хитрости и рыцарской чести, он не колеблется и хочет одного: отомстить за смерть отца. При нем все — сила воли, хладнокровие. В его судьбе то, чему положено случаться с настоящим героем, страшное испытание и конечное торжество. Такая судьба может увлечь.

А Гамлет Шекспира? Он другой. Хотя по схеме все то же. Вот убили его отца, вот он притворился сумасшедшим, вот он подменил письмо. Он все равно другой. Какой же он?

Гамлет — один из самых интеллектуальных героев в мировой литературе. Но если взять и выписать подряд все его мысли, как предлагает Аникст, выяснится, что ничего особенно мудрого он не говорил. Нет в его словах глубочайших философских откровений.

«И в небе и на земле сокрыто больше,
Чем снится вашей мудрости, Горацио».
«Что ему Гекуба, что он Гекубе, что об
ней рыдать».
«Так трусами нас делает раздумье».

В самом деле, ну и что?

Аникст пишет об этом парадоксе так: «Если мы сравним Гамлета и героя философской трагедии Гёте «Фауст», то увидим, что Фауст действительно великий мыслитель в том смысле, что его речи представляют собой глубокие откровения о жизни, и по сравнению с ним Гамлет в этом отношении покажется в самом деле не больше, чем студентом».

Откуда же легенда о его интеллектуальности? И, выписав усердно доказательства того, что Гамлет не умен, снова перечитываешь пьесу. И снова та же напасть!

Снова он умный. Снова вместе с ним переживаешь его боль и отчаяние.

В чем же здесь дело? Дело в пустяке! Дело в гениальности Шекспира. Он так строит каждую сцену, он ставит Гамлета в такие обстоятельства, что тот или подводит итог, или испытует, или осмеивает, или прозревает то, что не дано понять другим. Он подсвечен Шекспиром со всех сторон. Отсюда ощущение вершины.

Значит, дело не в каком-то особенном уме. Дело в нашем восприятии вершины, величия. Какого? «А человек он был», — говорит Гамлет Горацио о своем отце.

— Что это значит? Пустые слова? — спросила нас зимним утром Суламифь Яковлевна.

Что мы ей тогда отвечали? Бормотали что-то невнятное.

И с тех пор сидит во мне неизлитая досада. Ведь удержалась, не потянула нас к ответу: «Мог бы быть он вашим героем? Не мог бы быть он вашим героем?» А тут не вытерпела — «Что значат эти слова?» Ведь это все равно что спросить: «Что значит быть человеком?» Ведь она же нас все-таки втайне уважала, она не позволяла себе задавать вопросы, на которые каждый дурак знает, как отвечать: «Быть человеком?» Это из серии детсадовских вопросов.

— Это быть честным, смелым, мужественным.

Вот мы и бормотали про Гамлета что-то в этом роде.

Но нет худа без добра. С тех пор я слежу, если позволено здесь употребить столь обыденное выражение, за выходящей у нас «гамлетовской» литературой.

Существует легенда, связанная с Гамлетом. Этой легенде уже скоро четыреста лет. Легенда о том, что Гамлет — эталон нерешительности. Гёте так сказал о Гамлете: «Мне ясно, что хотел изобразить Шекспир: великое деяние, возложенное на душу, которой деяние это не под силу... Прекрасное, чистое, благородное, высоконравственное существо, лишенное силы чувства, делающей героя, гибнет под бременем, которого он не мог ни снести, ни сбросить. Всякий долг для него священен, а этот непомерно тяжел. От него требуют невозможного — невозможного не само по себе, а того, что для него невозможно...» И дальше поэтическое сравнение: «Это все равно, как если бы дуб посадили в фарфоровую вазу, корни дуба разрослись, а ваза разбилась».

Фарфоровая ваза! Но ведь Гамлет беспрерывно со-

вершает поступки, а в конце на сцене валяется достаточное количество трупов. Поступки не доказательства, утверждает большая часть гамлетовской критики. Надо совершать их вовремя. А один из критиков съязвил, что Шекспир заставил Гамлета колебаться, и тот не убил короля тотчас в первом действии по одной причине: иначе не было бы следующих четырех актов.

Но ведь Гамлет «человеком был», человеком в самом современном понимании этого слова: он не может просто поверить на слово, он хочет убедиться. Разве это признак безволия и слабости? Скорее признак нормальности человеческой души, которая должна до конца пройти крестный путь познания.

Призрак отца открыл ему тайну своей смерти. В призраков тогда верили. И Гамлет поверил. Но ему важно убедиться. И он перепроверяет, придумывает сцену с актерами. Он всех перепроверяет, даже Офелию. И, перепроверяя, каждый раз совершает выбор. Он размышляет вслух там, где обычно люди молчат. Скрытая внутренняя работа души обнажена для зрителя.

Что же с ним происходит в конце концов? А может быть, то, что так хорошо сформулировал один из любимых героев школьных лет? Андрей Болконский в тяжкую минуту жизни говорит Пьеру Безухову: «Ах, душа моя, последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много».

С князем Андреем то, что происходит с Гамлетом, стало. К нему пришло понимание, и он не особенно рад этому. У него уже многое было в жизни. Он был честолюбив, у него была жена, она умерла. Он полюбил девушку, она ему изменила. Наполеон проехал мимо него на коне и указал на него свите: «Вот прекрасная смерть». С князем Андреем это стало. А понимать стремился Пьер.

Следуя отвлеченным психологическим классификациям, князь Андрей — человек действия. Пьер — мыслитель. Это жизнь превратила князя Андрея в мыслителя. Он не создан для этой роли, и ему это ужасно. У него это трудно получается. «Ты всем хорош... но у тебя есть какая-то гордость мысли... и это большой грех», — говорит княжна Марья брату.

Писатель не знает, что с ним делать. Любой писатель должен был бы его убить. И Толстой тоже. Но, убивая князя Андрея, он оставляет вместо него Ни-

коленьку. Николенька — подрастающий принц. Ему суждено встретиться с людьми действия. Ему суждено соединить в себе деятельную натуру отца и созерцательность Пьера. В нескольких строчках Толстой перетрансформирует с помощью Николеньки всю направленность романа. Пятнадцатилетний Николенька «мальчик с тонкою шеей, выходившею из отложных воротничков» — возможный декабрист. Николенька — Гамлет. В другой стране, в другую эпоху, с другой программой.

Так что же Гамлет — синтез князя Андрея и Пьера? Трудно решиться сделать столь категорический вывод, хотя, признаюсь, в шестнадцать лет очень этого хотелось: ведь мы искали доводы не в себе, не в жизни — в литературных героях.

То, что с князем Андреем стало, с Гамлетом стряслось. И... и надо действовать. «А человек он был...» Перепроверка, сомнение, выбор — чисто человеческие свойства, те свойства, которые современные психологи, кстати, определяют как ведущие свойства личности. Он стремится к тому, к чему стремится всякий человек и что так трудно дается в реальной жизни: он хочет, чтобы его внутренние убеждения совпали с его внешними действиями. И снова наисовременнейшая философская и психологическая проблема, ее обсуждают представители самых разных направлений и систем: разрыв между внутренними убеждениями и внешними действиями порождает массу конфликтов, неврозов, создает ощущение внутренней неустроенности.

Но есть еще одно: когда он убедился, он сделал все то, что сделал Амлет Саксона Грамматика.

Гамлет хочет восстановить справедливость, он хочет правды («Я не хочу того, что кажется»). Не голой истины, которую сообщил ему призрак, а правды, той, за которую проливается кровь. Добиваясь этой правды, он ошибается и, что, пожалуй, самое человечное, платит за эту правду. Он ткнул шпагой в ковер и убил отца девушки, которую любил. А девушка сошла с ума и утонула. Наконец, пытаясь раскрыть эту правду всем, он гибнет.

Мог ли он не умереть в финале? Так хочется этого вопреки всем законам построения трагедии. В одной из работ, посвященных шекспировской трагедии, высказывается такое соображение: «Если бы режиссер в сцене с мышеловкой, обладая предвидением фактов жизни,

включил бы в представление и сцену гибели самого Гамлета, то поведение героя трагедии было бы совсем иным».

Но мы тогда и понятия не имели о научной проблеме «намерение — осуществление». Мы просто знали: Гамлет умнее всех, ведь он мог бы что-нибудь придумать, как придумывал до этого, перехитрить, обмануть, снова притворнться, и... и, конечно же, стать справедлнвым королем.

А может, просто пришла та минута, когда наступила пора действовать: раскрывается правда, до конца обнаруживается преступность того, что происходит вокруг? Пришла та минута... У каждого из нас своя стена. И своя спина. И приходит та минута, когда спина касается стены — и больше пути нет.

И дальше начинается то великое, чему научил нас Шекспир. Можно сдаться, можно упасть на колени. Вот ты упал на колени, вот ты сдался, вот ты от всего отрекся. Или просто отступил и признал свои ошибки: «Да, я был Гамлет, принц датский, больше не буду».

Но если ты Гамлет, если ты принц, если за тобой правда, то попытка отречения бессмысленна. Ситуация безвыходна, тебя все равно убьют, раньше или позже. Не падай на колени!

Так Шекспир учил действовать. Встречать лицом к лицу свою стену. Учил оставаться быть самим собой.

Произвольная трактовка! Чудовищная! Ненаучная. Гамлет совсем «не про то». Но что поделаешь! Для нас это было тогда «про то».

А дальше? «Дальше тишина», — говорит умирающий Гамлет Горацио и просит «поведать правду об мне неутоленным». Дальше тишина. Но всегда остаются неутоленные. Эти слова и эту истину замечаешь позднее.

Когда разбираешь причины гибели Гамлета, возникает еще один вопрос: почему так яростно обрушился на принца королевский двор. Потому что король боялся, что он узнает правду? Но еще до сцены с актерами его хотели спровадить в Англию. На всякий случай? Нет, он мешал, он был опасен.

В XX веке «Гамлетом» много занимались профессиональные психологи. Много занимались им и философы, увидевшие в нем первого человека нового времени. Всякое профессиональное вмешательство неизбежно сужает предмет, о котором идет речь. На живую ткань искус-

ства накладывается сетка пристрастий, излюбленных тем или иным автором научных идей. Но часто бывает полезно взглянуть на любимое, казалось бы, знаемое насквозь чуть-чуть иными глазами.

...Мы сидели в компании психологов и разговаривали. Мы говорили в тот вечер о стрессе и о молодости. И тогда кто-то привел в пример «Гамлета».

— Почему он опасен? Не потому, что он может узнать правду. Можно отречься от престола, но нельзя отречься от молодости, от того, что ты принц, от своих двадцати лет. Не может он отречься от того, что он еще молод, а они стары и скоро умрут. Король — это, в конце концов, должность. А принц? Он страшен не тем, чем он является, а тем, чем он может стать.

— Иными словами, стресс молодости, да? — спросила я. — И стресс этот опасен?

— Ну конечно. Нельзя отречься от своего будущего. От самого себя. От принца. Принц — он бомба. Из него нельзя вынуть часовой механизм. Принц — это неосуществленное право. Неосуществленных прав на свете множество. Но есть право, которое обязательно осуществится, которому не в силах помешать дряблая старческая воля. Право это — молодость.

О Гамлете ли говорили мы в тот вечер? По существу, конечно, нет. Но можно ли его так увидеть?

Так можно увидеть. Вполне профессионально увидеть, с привлечением современного философского и психологического аппарата. Но так оптимистично, что ли, почувствовать Гамлета можно только в определенных возрастных пределах. Когда ты сам еще молод, тогда тебе кажется, что молодость опасна и победительна.

Кому, кроме молодости, кажется, что она опасна? Ведь молодость беззащитна. Ибо она полна бескорыстия: она умеет любить, жертвовать собой, она меньше боится смерти.

Мне очень хотелось бы встретиться с моими собеседниками лет через тридцать. Интересно, о чем мы будем говорить, обсуждая Гамлета через тридцать лет? Впрочем, есть одна математическая работа, где мне уже дан ответ на этот вопрос. В ней построена система доказательств, из которой следует, что логически невозможно предположить существование единого Гамлета. Есть единый текст, допустим, 160 страниц текста. Гамлета же как такового не существует, есть только

его отражения, его зеркала, множество зеркал! А если учесть, что каждый из нас в течение жизни меняется и вместе с нами меняется «наш Гамлет», то сколько же их было!

И понятны становятся многовековые споры: на определенную историческую эпоху, на определенный литературный стиль даже у самого беспристрастного исследователя накладывается свой личный опыт, решение собственных «гамлетовских» вопросов.

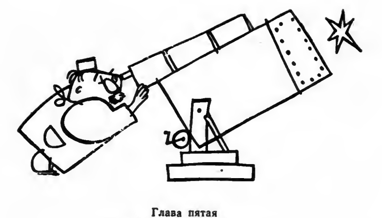
Понятны? Что же тут понятного?

Можно попытаться объяснять происходившее вокруг Гамлета. Можно набраться храбрости и пытаться объяснять самого Гамлета.

Но невозможно внушить себе, что когда-то «Гамлета» не было. Вот в 1601 году он уже был, а в 1599-м его еще не существовало. «Гамлет» для нас уже нечто материальное, почти телесное. Это уже реальность. Как реален город, в котором ты живешь. Как вполне реальны встречи с живыми людьми, так или иначе повлиявшими на нашу жизнь. Он реальность бо́льшая, чем мы, созданные из крови, мускулов, стекла и бетона.

Исчезнет моя улица, мой дом, уйду в небытие я и мои близкие. А он, «Гамлет», эти 160 страниц текста, они останутся.

...Чудо искусства, должно быть, еще и в том, что в тяжелые минуты эта мысль иногда кажется утешительной.



Глава пятая

«НАМ НУЖНО ВСЕ»

КОНТАКТ

Представьте себе: ночь, ресторан аэровокзала, психолог, застрявшнй из-за иелетной погоды в незнакомом городе. Спать негде. Делать нечего. Психолог решает провести маленькое нсследованне. Ему давно хочется проверить одну свою гнпотезу. Но для ее подтверждения нужны факты.

Какой же факт хочет обнаружнть пснхолог? Его интересует предмет общення: о чем люди говорят между собой, что нх заннмает? Не как они разговарнвают, а о чем. Не нитонацнн, не жесты — сам предмет разговора. Странные вещн волнуют нашего психолога. Что значнт «предмет»? Люди говорят обо всем. Как будто бы о том, что есть на самом деле. Но каждый слышал в жнзни хоть одну сплетню. Поэтому каждый знает: людн говорят не совсем о том, что есть на самом деле. В общеннн действнтельность искажается.

Людн говорят о том, что есть на самом деле, ио не обо всем, что есть на самом деле.

А о чем чаще всего говорят между собой иезнакомые, случайио встретнвшиеся люди? Это научная целниа — пснхологнческое объясиенне интереса людей к тем нлн иным элементам предмета общення».

Вот два слова, взятые наугад. Снежиика и «сиежный человек». В словаре онн стоят совсем близко. Снежннкн несколько месяцев в году падают на землю, на нас. Возможность встречн со «снежным человеком» практнческн равна иулю.

О чем людн говорят чаще? О «снежном человеке».

С другой стороны, совершенно ясно, что обсужденне подробностей жнзни Спннозы скучнее темы «поговорнм о страиностях любвн».

По-вндимому, есть темы, которые задевают каждого, легко трансдируются, то есть передаются нз уст в уста — в семье, в гостях, на работе, то есть в той или иной группе людей. Но это всего лншь гнпотеза.

Наш пснхолог хочет ее проверить. Вот он сиднт за ресторанным столиком. Он уже заранее наметнл несколько тем, которые актнвно транслнровались в этом году. На каждую тему подобрал соответствующую нсторию, прошедшую шнрокую трансляцню. Каждый год «ходнт» иабор такнх историй, более нли менее правдоподобных. «Говорят, в «Неделе» появнлась заметка, где

рассказывается то-то». Далее следует история типа: повариха, похищенная обезьянами в такой-то экспедиции, в таком-то месте. Или — завидя змею, женщина в испуге прижалась к дереву. Змея быстро обвилась вокруг женщины и несколько дней продержала ее в объятиях.

На такие истории клюет почти каждый член общества, независимо от уровня своего интеллекта. (Видит не только наживку, но и крючок, а все равно клюет.)

В том году, когда наш психолог сидел в ресторане, наиболее популярны были дельфины и соответственно тема параллельного разума. Дельфины — пункт первый, начало разговора. Дальше шла тема путешествий и, естественно, любви.

Итак, все подготовлено. Оставалось только заговорить с человеком, который бы транслировал эти темы другим людям. Психолог подозвал официантку, сделал очень скромный заказ. Когда она уже собиралась отойти, он заговорил с нею о ...ну, конечно же, о дельфинах.

— Говорят, многое зависит от того, что человек ест, — сказал психолог. — Говорят, для умственной работы нужен сахар. Вот я и попросил вас принести побольше сахара, я собираюсь всю ночь работать. А дельфины, говорят, кофе не пьют, сахару не едят, а у них такая высокая умственная деятельность.

Официантка подумала и ответила:

— Зато они водоросли едят, как космонавты хлореллу.

И отошла от столика. И тут наш психолог выбросил свой главный «дельфиний» козырь:

— А разве так интересно знать, что дельфины умные? Интереснее выяснить, о чем они думают.

— Это ж разве узнаешь, — сказала официантка, — рыбы ж они все-таки, не люди.

— Нет, почему же, профессор Лилли, знаете, тот, который занимается дельфинами, утверждает, что научил дельфинов говорить. Да и вообще они не рыбы.

— Как не рыбы?

— Вот когда вы принесете кофе, мы с вами обсудим этот вопрос поподробнее.

Кофе она принесла очень скоро. И пришла не одна, с другой официанткой. Трансляция началась.

— Вот гражданин говорит, что дельфины не рыбы,— сказала первая официантка, указывая на психолога.

Психолог отхлебнул кофе и рассказал знаменитую историю о том, как Лилли проходил мимо играющего дельфина. Тот обрызгал своего шефа, и Лилли крикнул ему: «Stop talking!» («Прекрати!») Дельфин высунул морду и ответил: «О'кэй». То есть он сказал это, конечно же, на своем дельфиньем ультразвуковом или каком там у них языке, но запись дешифровали.

— Да, — сказали подруги. — Вот это да!..

Дальше у психолога была своя задача. Дельфинов он исчерпал, надо было срочно переходить к теме любви. Естественный переход таков: дельфины не рыбы, но и не люди. Процесс сосуществования поколений у них совсем другой. В четыре года у матери-дельфинихи появляется дельфиненок.

В этом месте рассказа возле столика стояло уже четыре женщины. Их подозвали жестами.

С темой любви все обошлось хорошо. Затем психолог перешел к теме «путешествия». Эта тема, территориально-пространственная, была выбрана не случайно. Место работы официанток — аэропорт. Люди приезжают, уезжают, рассказывают разные истории — ветер странствий, так казалось психологу, не может не волновать всех имеющих хоть отдаленное отношение к полетам.

Тут-то, выражаясь профессиональным языком, произошел сбой. Все эти женщины были женами, матерями, сестрами тех, кто летал или обслуживал Аэрофлот, — летчиков, механиков, штурманов. Они были слишком тесно связаны с тем, что условно проходило под рубрикой «путешествия». Трансляция превратилась в собеседование, они уже рассказывали ему разные истории. Правда, психолог сумел повернуть беседу в русло острова Пасхи, гигантских статуй, загадок межконтинентальных связей. И сделал это, видимо, удачно. Так как к концу разговора (а к концу разговора, заметим в скобках, уже светало) возле столика сидело шесть (!) женщин.

В целом эксперимент подтвердил факт трансляции. Но не это было главным для нашего психолога. Его интересовало другое: неужели в жизни этих женщин самым важным были дельфины, остров Пасхи, рассказ о любви в Японии, где мужья и жены бьют друг друга в строго заданной позе, подушками строго, определенного размера?

Что стоит за этим ночным разговором? Каковы психологические механизмы такого рода «предмета общения»? Почему предмет общения так часто отличен от конкретных профессиональных, экономических, возрастных причин?

Но, с другой стороны, почему мы решили, что все эти темы далеки от человека?

И тут, чтобы легче разобраться в истоках нашей страсти к такого рода историям, мне хочется напомнить еще одну.

Известно, что в Новом Свете до прихода европейцев не знали колеса. Есть нечто глубоко странное и неестественное во всем этом: прекрасно сохранившиеся дороги, построенные неизвестно для чего. Ни для чего, чтобы по дорогам тащить волокуши. И вот археологи при раскопках находят детскую игрушку — повозку с колесиками! Какой тут поднимается шум!.. Трезвые люди считают, что никакого события не случилось: игрушка завезена позднее. Археологи, настроенные более романтически, возражают: «Нет, она древняя, подлинная».

Почему бы и нет? Ведь каждый год появляются все новые сообщения, где снова и снова дебатируется вопрос, кто же первым приплыл в Америку — викинги, японцы, финикийцы, египтяне? «Допустим, было так, — говорят археологи-оптимисты,— в незапамятные времена какой-то корабль прибило к берегам Нового Света. Корабль разбился, матросы осели на новой земле, женились на индианках. И вот какой-то стареющий матрос — финикиец, японец, викинг — какое это имело значение? — сидя на берегу океана и вспоминая родину, куда ему уже больше никогда не вернуться, слепил своим детям игрушку — повозку с колесиками».

Но тут же выскакивает до глупости простой вопрос. Если он вылепил игрушечное колесо, то почему бы ему не сделать настоящее, зачем же мучиться, таскать волокуши? Видите? Значит, игрушки не было? И корабля никакого не было, и бородатого матроса не было.

— То есть как не было?

В этот самый миг, сами того не замечая, в спор включаемся мы, непрофессионалы. Наши непрофессиональные эмоции. Мы даже начинаем обижаться. Нам хочется, чтобы так было. И наше воображение вовсю работает дальше.

— А сооружения в Мексике, так похожие на египетские пирамиды? А Атлантида? А загадка острова Пасхи?

Почему нам так смертельно хочется всего этого? И чтобы дельфины разговаривали, и чтобы на Атлантиде когда-то жили люди. Ведь, давайте признаемся, если бы выяснилось точно и определенно — Атлантида была,— мы бы по-настоящему обрадовались только в одном случае: если бы там нашли остатки человеческой цивилизации. Нам нужна повозка с колесиками, а не ящеры 23-метрового роста, хотя ящеры такой высоты, бесспорно, примечательный факт и его тоже стоит обсудить. Но не так страстно: они же ящеры, а мы люди.

А пришельцы? А каналы на Марсе?

Откуда в нас эта тяга ко всему новому, неоткрытому, неизвестному? Даже не тяга. Потребность.

На радость всему миру выплывает в свои знаменитые плавания «Ра». Все следят и ловят подробности. Как у Хейердала там все происходит, на его «Ра»? Происходит все здорово! Это заслуживает отдельного психологического разбора. Хейердал — интуитивно блестящий психолог-практик. У него железные правила, у него традиции, у него система «табу»: о чем когда не говорить. Он знает: из ста шагов к цели самый трудный 99-й, потому что уже виден сотый.

Наконец «Ра» у цели.

«И король прижимает седого путешественника к колючей от звезд груди».

Мир рукоплещет.

Да почему, в конце концов? Ну приплыли они. И что это доказывает? Ровным счетом ничего. Серьезные ученые вообще относятся ко всем этим гипотезам недоверчиво. А абсолютному большинству человечества просто должно быть наплевать, как там все на самом деле.

И вот ночной ресторан, усталые, замученные женщины, ситуация, меньше всего располагающая к разговорам о дельфинах, об острове Пасха, о «Ра».

Почему всем так хочется, чтобы это было, чтобы был Контакт, чтобы было Общение?

Кто-то сказал, что ребенок задает свои «почему» не потому, что хочет узнать ответ: ему нужно, чтобы с ним разговаривали. Нам, людям, тоже хочется, чтобы с нами

разговаривали — через тысячелетия, через океаны, через галактики. Вот, говорят, Колумб и его команда плыли в Америку за золотом, за драгоценностями. Все правильно. И вели себя многие «открыватели» ужасно — резали, грабили, истребляли. Но когда они плыли, им наверняка хотелось увидеть огромные города, стены, обложенные золотом. Мир иной, но мир человеческий.

Откуда это отчаянное стремление найти себе подобных? Это чувство одиночества?

С детства мы боимся оставаться долго в пустой комнате, в пустом доме. Мы боимся пустых городов. (Помните пустой, вымерший город в фильме Бергмана «Земляничная поляна»?) Мы боимся пустых континентов. Мы не хотим пустой вселенной.

Это начинается еще с детства — страх темноты, страх темных лестниц, страх одиночества. В раннем детстве мы постоянно пытаемся преодолеть одиночество в разговоре со взрослыми, в игре со сверстниками, с воображаемыми собеседниками, с игрушками.

Человек в своей жизни играет множество ролей: роль ученика и учителя, роль студента и роль профессора, роль покупателя или продавца, роль больного и роль здорового. В каждой из этих ролей есть свои правила, их надо соблюдать, чтобы жить в обществе.

Наша первая роль — роль ребенка. И хотим мы того или нет, кто в большей мере, кто в меньшей, мы продолжаем играть эту роль. Мы пытаемся сбросить с себя эту роль, «преодолеть в себе ребенка».

Но наша первая роль в нас живет. Даже подавленная, даже, казалось бы, исчезнувшая совсем. И потому нам не может быть неинтересно, что сказал дельфин в ответ на окрик профессора Лилли: «Stop talking!». Неужели «о'кэй!»? Не может быть!

И еще одно обстоятельство. Человек вырастает в семье. Из двух человек эта семья или из десяти — неважно. Важно, что первые представления о мире складываются как представления о семье, о коллективе. И это представление тоже остается. На всю жизнь. Неосознанное. Представление о своей планете как о большой семье. А если это семья, то ведь так хочется, чтобы все в ней общались между собой. И плывет «Ра», и вроде бы доказывает: да, общались.

Но тут легко возразить. Современный человек, утомленный сутолокой цивилизации, не страдает от одиночества, а мечтает о нем. Он мечтает уйти от людей. И уходит в океан, в дельфинов, в занимательную проблему того, как размножаются бегемоты, кенгуру или птички колибри. Человек уходит. Но как много в этих уходах от нашей самой первой роли!

Разные виды одиночества мирно сосуществуют в человеческой душе. Мечтая о тишине, о благословенных необитаемых островах, современный человек неистово ищет подобия себе. Ибо, что бы мы там о себе ни говорили, нам интересны люди.

Почему нам интересны люди? «Потому, что мы интересны сами себе», — отвечает Станислав Лем.

А почему мы интересны сами себе? Ах, как трудно ответить на этот вопрос! Лучше и не пытаться. Одно из бесспорных проявлений нашего интереса — стремление не быть одиноким.

Что значит «не быть одиноким»? Это значит иметь вокруг себя людей, которые тоже ты. Условно говоря, это мой мир, населенный масками, где каждая — одна из моих масок. Это, конечно же, иллюзия, другой человек — это не ты и не может быть тобой. Но так хочется думать.

Так думаешь. Так легче, так избавляешься от одиночества.

А что значит не быть одиноким во вселенной? Почти то же самое. Человек дублирует, экспансивно размножает себя на другие планеты. Он читает о какой-нибудь планете Альфа Центавра, населенной трехголовыми мыслящими существами, и ощущает себя в этот момент тоже трехголовым. Три головы? Подумаешь! Переживем! Зато это существа, играющие там, у себя, те же роли, которые мы играем здесь, на Земле. И ему кажется, что он осуществился еще в одном воплощении, он продолжил свою жизнь.

Может быть, в этом сказывается вечное человеческое стремление к бессмертию? Даже когда Земля остынет и превратится в кусочек льда, ты не умрешь, ты будешь жить там, за миллионы световых лет отсюда.

Рэй Брэдбери в одной из своих статей сказал, отвечая на вопрос, как он понимает, что такое бессмертие: «Когда на Земле неурожай, мне надо знать, что Венера шумит в пшенице».

МЫ ИНЫЕ, И МЫ ПРЕЖНИЕ

Почему мальчишкам всех времен всегда хотелось куда-то сбежать? В конце XIX века на Аляску, в Клондайк. Там золотые самородки? Там пустые снежные равнины, там человек с собакой, с ножом, ружьем — там человек в риске и преодолении себя.

А международная гонка за приоритет в открытии Северного и Южного полюсов? За ней следили все: и взрослые и дети. Хотя что такое полюс? Точка на карте, лишенная всякого смысла, кроме географического.

А беспосадочные перелеты через океаны в 30-х годах? А дрейфующие станции? А риск космоса сейчас?

* * *

Психиатр Анатолий Борисович Добрович любит поговорить о такого рода проблемах. Любит, но при этом чужд традиционной мистики — во всяком случае, старается избегать ее при обсуждении человеческих поступков, страстей, влечений.

Я рассказала Добровичу про эксперимент психолога, пожелавшего в этом повествовании остаться неизвестным. Про аэропорт. Анатолий Борисович откликнулся неожиданно агрессивно:

— А почему мы привыкли считать, что общение должно быть бездуховно? Почему мы сами сужаем то, что вы называете «предметом общения»? Почему мы считаем, что люди говорят только о низменном, житейском, обыденном?

— Ну хорошо. А Амундсен, Нансен, Седов, наши мечты о путешествиях на папирусных лодках, на плотах? Конечно, я смешиваю разные вещи, но я просто пытаюсь навести вас на волнующие меня сюжеты.

— Ваши сюжеты — сложные сюжеты. Они касаются самого процесса жизни. Вернее так: они обнажают эти процессы. Помните, вы как-то говорили о молодости, которая стремится к стрессу? Я бы добавил к этому определению следующее. Я бы сказал еще, что юность стремится к получению максимума информации в той области, в которой она проводит свое исследование.

— А область исследования — жизнь? Что ж, вполне глобальная постановка вопроса.

— А вы думаете, ваших дельфинов и Северный полюс можно объяснить изолированно от всего остального? Идея проста: нормальное поддержание жизни, я имею в виду не биологическое — духовное, просто требует нового, необычайного.

— Значит, бывает сенсорный голод, голод наших чувств, и голод духовный?

— Если хотите, да. Без притока нового человек перестает чувствовать себя живым. Есть даже такое определение жизни, его дал один математик: «Жизнь — это использование информации с последующей аккумуляцией ее в организме для противостояния энтропии». Что это значит? Энтропия — хаос. Жизнь — противостояние хаосу, островок организации! За счет чего возможна организация? Только за счет постоянного самообновления. Заметьте, клетки нашего тела обновляются беспрерывно. За год сменяются все, кроме нервных. Клетки погибают, эскиз остается. Клетки — это уровень биологический. Он свидетельствует: новизна — необходимость.

Теперь дальше. Психическая жизнь — это отражение и поддержка жизни биологической, имеется в виду план чисто эволюционный. Сначала мы, мы, которые теперь люди, были клетками. Мы располагали способами только химического взаимодействия со средой. Эволюция совершенствовала нас и продвигала вперед. Появились иные способы взаимодействия со средой, возникли органы чувств, исчезла потребность в «химическом» общении с объектом. Мы уже видели его на большом расстоянии, слышали его.

Новый эволюционный этап — психическая деятельность. Она тоже направлена на поддержание жизни. Почему бы не предположить, что ее пронизывает тот же комплекс закономерностей? Точно так же, как мы не могли бы биологически выжить, не обновляя клетки, психически мы не можем выжить без притока свежей информации.

В нас заложена мощная тенденция к продолжению жизни. И то, что делает с нами наша психика, возможно, имеет к этому отношение. Она кидает нас в разные стороны: «Испытай, попробуй, переживи». Есть такой психологический феномен — стремление к риску, стремление приблизиться к смерти. Чтобы почувствовать себя живым, надо ускользнуть от лап смерти. Чтобы ускольз-

нуть от ее лап, надо попасть в ее лапы, а потом ускользнуть.

Оглядываясь на свои поступки, мы только разводим руками, а оказывается, нам это было нужно. На «душу» возложена задача — помогать продолжению жизни. Но если это так, то тут она действует в русле общего закона — закона обновления.

Разве все это не накладывается на общее представление о необходимости новизны? Все это имеет отношение и к Северному полюсу, и к путешествиям. Если в жизни не хватает новизны, человек сопереживает тем, кому доводится ее испытывать, он «переселяется» в Тура Хейердала и плывет с ним вместе на «Ра».

— Подождите. (Сейчас я уже вступала на скользкий путь борьбы с самой собой.) Может быть, и существует некий универсальный закон. Он пронизывает все уровни нашего бытия. Но в жизни, обычной жизни мы этого совсем не осознаем. Мы боимся новизны так же, как мы боимся стрессов. Нас тянет к стабильности. Нам хочется, чтобы все было спокойно. Уютно в доме, уютно там, где работаем. Уютно во вселенной.

— Да, это так. Но, очевидно, в психике существуют два расходящихся процесса. Процесс сознательный — уют, стабильность, сохранение равновесия — в семье, на работе, везде. И параллельный процесс в обратном направлении — поиск нового, он может разрядиться взрывом. А механизм всего этого дела — равновесие.

— Но тогда юность — это отсутствие баланса. Стабильность раздражает. И уют раздражает. И в бешенство приводят люди, стремящиеся к стабильности. Может быть, это и есть стресс с точки зрения баланса? Стрелка, идущая только в одном направлении?

— Не втягивайте вы меня в разговор о молодости! Там все слишком сложно. Чтобы войти в мир во всеоружии, надо страшно много преодолеть в себе. Это так трудно. Это огромный вопрос — «устройство себя во вселенной», раз уж мы сегодня ведем разговор в космических терминах. Оно вызывает в юности ту напряженность, которую вы условно назвали стрессом.

...Как хейердаловская «Ра», куда-то далеко от первоначальной темы уплыл наш разговор. В океан проблем, которые каждый решает сам для себя. От одиночества к новизне. От новизны к теме бесконечного духовного самообновления: жить — это значит отказываться от

старого. В этом смысле строго научны стихи Николая Заболоцкого.

Как мир меняется! И как я сам меняюсь!
Лишь именем одним я называюсь, —
На самом деле то, что именуют мной, —
Не я один. Нас много. Я — живой.
Чтоб кровь моя остынуть не успела,
Я умирал не раз. О, сколько мертвых тел
Я отделил от собственного тела!

Если внешний мир не дает человеку лепить новые облики, он умирает. Сначала духовно. Потом физически.

Стало быть, человеку нужно все. И одиночество, и неодиночество, и дельфины, и Северный полюс, и трехголовые с планеты Альфа Центавра. Именно потому, что продолжение жизни — это бесконечный поиск нового, нам так хочется, чтобы все это было. С помощью нового мы пополняем себя, мы переходим из облика в облик. И только так мы себя можем сохранить.

«Индивидуальность тела есть скорее индивидуальность огня, чем индивидуальность камня...» Это сказал Винер. Мы те же и не те же. Мы иные, и мы прежние. Чтобы быть иными, нам нужно изменяться. Чтобы быть прежними, нам тоже нужно изменяться. Чтоб изменяться и оставаться прежними, нам нужно новое.

— Нам нужно все,— вздохнули мы оба: это был долгий разговор, и трудно было связывать в нем узелки с узелками.

...Все нам нужно. Нам нужно верить, что тысячу лет назад на берегу океана сидел чумазый мальчишка и играл странной игрушкой, повозкой с колесиками. В ту минуту, когда он дотрагивался до этих колесиков, он играл с детьми, с которыми никогда не играл.

Тем самым совсем немножко он играл и с нами. Ведь правда? Ибо тут вступает в «игру» еще одна особенность психики, о которой мы уже говорили: «Когда на Земле неурожай, мне надо знать, что Венера шумит в пшенице».



Глава шестая

ТЕСТ

ПЯТНА РОРШАХА

— Вы со мной лучше не ходите, замерзнете, — сказал Петя. — У меня сегодня участок очень грязный, неделю не убирали. Дворник заболел, меня и перевели сюда.

Петя в телогрейке, лыжной шапочке, в каких ходят опростившиеся математики, в очках, с элегантной русой бородкой. Метла его привязана к палке черным анархистским бантом: черным чулком, найденным на помойке.

Петя Карпов кончает психологический факультет Ленинградского университета. Жена его, тоже психолог, кончив университет, уехала в аспирантуру в Пермь. Петя остался один, и где было жить — неизвестно. В общежитии не хотелось: несколько человек в комнате, а как же работать? Райжилотделы дают площадь только дворникам. Иногородний Петя пошел в дворники, получил комнату на Восьмой линии Васильевского острова и шестьдесят рублей зарплаты. Жизнь вышла независимая и полезная для здоровья, еще и жене можно помогать.

Петя прав, грязный у него двор, но зато улица чистая, совсем нет бумажек. Ветры с Ладоги дуют в феврале, они все уносят.

Петя метет. Я хожу следом: нелепая, должно быть, картина. Но хочется, хочется поговорить о Роршахе. А времени совсем мало. Петины очки, интеллигентская шапочка с ушками скоро привлекают внимание. Молоденькая пара на автобусной остановке, рядом с «нашим» участком, начинает шептаться.

— Гляди, гляди, какой дворник, — говорит она. — Хорошо смотрится, правда?

— Ничего хорошего. — Он подозрительно осматривает Петю с ног до головы. — Под студента работает, вот и все.

— А может, он правда студент!

— Ну да, студент на пятнадцать суток.

— Поверила я тебе! Их по одному не отпускают.

Они замолкают и зачарованно глядят, как метет Петя с тротуара предвесеннюю грязь. А я отхожу в сторону и пытаюсь увидеть Петю их глазами. Что в нем так раздражительно действует? Борода? Очки? Нет, скорей сам силуэт: слишком профессиональны и

изысканно-точны его движения. Обыкновенный дворник не стал бы так работать. Это же его главная работа, впереди нескончаемые мостовые и нескончаемая человеческая неопрятность. Зачем торопить жизнь? А Петя метет так, словно его еще что-то ждет, по спине видно, что ждет.

Смотрю на Петину спину и вспоминаю разговор с психологом Ниной Альбертовной Розе. Она работает в лаборатории дифференциальной психологии. Занимается психомоторикой — движением. Так вот, Нина Альбертовна рассказывала, что труд на современном заводе так сложен, так точно отмерены и рассчитаны должны быть движения, что справиться с этой, казалось бы, чисто физической нагрузкой могут только люди с хорошим образованием, семь-восемь классов уже мало. Там, где требуется четкость, нужна полная средняя школа, десять классов.

Неожиданный факт: интеллект как нечто побочное нужен там, где, казалось бы, он вовсе не нужен. Проблема, которая недавно родилась, и в будущем, очевидно, обретет большую остроту.

С Петей сейчас происходит совсем наоборот: Петя слишком интеллигентно метет Восьмую линию Васильевского острова. Но до чего же доводит наука! Смотрю на Петю, а в голове ассоциации, корреляции, о которых мне рассказывали ленинградские психологи, и уже нет независимости восприятия — так каждый человек науки закован, связан своим способом отбора, конструирования окружающей среды.

В каждый приезд я попадаю в несколько Ленинградов, не пересекающихся друг с другом. В этот раз был у меня Ленинград искусствоведов с хождением в запасники, с разговорами о закупочных комиссиях, о новых поступлениях в Русском музее, о судьбе частных коллекций, о том, почему вошел в моду английский фаянс. И если заходила речь о кактусах, то выяснялось, что лучшие в городе кактусы цветут в Эрмитаже; и если говорили о кражах, то вспоминали кражу в Музее Пушкина на Мойке. На Ленинград на моих глазах натягивалась своя, искусствоведческая сетка важных и неважных событий, людей, всего — даже цветов.

С реставраторами был уже немного другой город. Для них дома, особняки, церкви, мостовые — это свое,

домашнее, как для нас старые вещи в родительской квартире. И большое удовольствие ходить по этой квартире.

Прекрасен Ленинград историков: «Вон три окна, да нет, на втором этаже, там, знаешь, кто жил?» И так на каждой улице. Историки не просто показывают «свой» город, они в нем, в этих трех окнах, живут. Реставрационные заботы об этих трех окнах не их печаль. Прошлое не прошло, что было, то есть, а что будет — это уж как будет. Отсюда и тональность разговора.

А друзья-литераторы спрашивали: «А у Блока, на островах, на Елагином, вы уже в этот приезд были? Нет? Ну как же так можно! Вы не смейтесь, но там появился белый конь. Представляете, кто-то держит среди города на островах ослепительно белого коня и рано утром, в тумане, скачет по улицам. Это не байка, многие уже видели, правда. Поезжайте, поглядите. Призрачно, нелепо, сплошная чертовщина...»

И живут в этом городе психологи, они видят во всем свое, как я сейчас в работящей Петиной спине. Есть социальные психологи, эти по привычке определяют везде, даже в ресторанах, кто есть кто. И почему мрачна официантка, какой лидер, метрдотель или повар, в этой малой группе, демократический или автократический.

Профессия хватает и держит крепко. «Белый конь на Елагином? Весьма любопытно, — скажет социальный психолог. — В экстравертированном мире тяга к интраверсии». И это будет маленькая часть того, в сущности, глубоко мистического и провиденциального для поклонника Блока факта, что спустя шестьдесят лет после знаменитых строк «две тени, слившись в поцелуе, летят у полости саней» на Елагином снова появился Белый Конь.

...Не пересекаются эти города, хотя все они гуманитарные и, казалось бы, почти родственники. Все равно у каждой профессии свой город, а у каждого человека в этом общем для своего клана городе есть свой город. А в этом своем есть еще микрогорода — разные куски жизни. Получается город-матрешка: внутри одной, главной, прячутся все остальные. Человек тоже матрешка. В каждом из нас...

Глядя на Петю, я попыталась подсчитать, сколько

матрешек накопилось у него внутри за двадцать шесть лет жизни.

...Петя уже убрал двор. Оставалось совсем немного.

— А вы любите заглядывать в окна? — спросил Петя.

Вопрос сугубо профессиональный. Но в любом тесте, в знаменитом миннесотском опроснике, например, вопрос звучал бы иначе, утвердительно: «Вы, конечно, любите заглядывать в окна. Да или нет? Отложите карточку вправо или влево».

Отложила карточку вправо: «Да, я люблю заглядывать в окна».

— Когда бываете одна?

Это тест или уже не тест?

— Могу и одна.

— Понятно, — сказал Петя.

(Интересно, что ему понятно, мне, например, ничего не понятно.)

Он окончил уборку, и мы пошли покупать греческий, так сказал Петя, обед: бутылку сухого вина, брынзу, черный хлеб. «Будем вкушать и разговаривать». Все купили, забыли только про сахар.

Петя снова уходит в ближайшую лавочку. Я разглядываю единственный портрет на стене — Роршах. Разлетающийся белый халат, усы, тяжеловатый подбородок («Лихой был парень, правда?» — сказал про него Петя). Нет, я не согласна, это не лихость, такие лица, лица победителей, у многих крупных ученых начала века: они просто пришли из века девятнадцатого, они воспитанники прошлого, вполне оптимистически настроенного века, с его верой в позитивизм, в неуклонное, без всяких срывов движение прогресса.

Глядя на фотографию, можно представить себе, как стремительно ходил этот молодой человек по своей психиатрической клинике в маленьком швейцарском городке, как неспешно возвращался домой разрабатывать, улучшать свой тест. Как близким его, если он успел обзавестись семьей, вечерние занятия молодого психиатра казались, должно быть, странной забавой: двенадцать лет подряд капать на чистый лист бумаги чернила, складывать лист пополам, получать размытые изображения и потом проверять их, эти изображения, на больных. Или наоборот — проверять больных на этих изображениях. Больше десяти тысяч клякс сделал

он, прежде чем отобрать свои, ставшие теперь классическими, «таблицы Роршаха».

И вот теперь, спустя полвека, есть в Америке громадиый Институт Роршаха, где собрано больше миллиона протоколов. Есть отработанные методики. По родам войск в США распределяют по Роршаху, по Роршаху принимают на работу все крупные фирмы.

Это дискуссионный вопрос — практика, практическое применение. Тем более что тест этот требует идеальиой подготовки, величайшей добросовестности и полиой освобожденности от личных пристрастий. В американских колледжах на психологических отделениях Роршаху учат три года. Только Роршаху, работе с иим.

Но сам тест, так как он был задуман — для выявления структуры личиости, — сам тест ни в чем не виноват и ничего ие теряет от повсеместного и часто вульгариого его применения. Скорей даже наоборот: общеупотребительиость его не знак ли заложенности чего-то очеиь коиструктивиого в простые, невнятные для строгого разума чериильиые пятна.

...Петя, как фокусник колоду карт, достал таблицы величиной со школьную тетрадь. Нет, немного меньше.

— Что это?

— Летучая мышь. В самом деле, тут были и крылья, и подобие головы. И все было симметрично.

— А это?

— Две женщины, иет, может быть, даже мужчины или древние люди, дикари, что-то варят в очаге.

— А дальше?

Дальше были медвежата, и крабы, и бегущие куда-то ие то коты, не то бобры, и мягкие голубоватые облачка, и бабочка-капустница, и готический собор, окружеииый тучами, и два гномика в красиых колпачках. А быть может, это были ие колпачки, а духи, духи кровавых и беспощадиых сказок вовсе ие в стиле братьев Гримм, или просто рентгеновский снимок, тревожащий своими дымчатыми очертаниями?

Карты лежали на столе вперемежку с греческим обедом. Стол освещала настольная лампа, бутылка бросала на картинки причудливую тень. Наша трапеза, наш разговор походили иа урок черной магии. Пятна втягивали в себя. Не отпускали. В нерезких границах их между черным и белым появлялись все новые видения. Не первый и не второй раз видела я эти таблицы,

даже во сне они снились: ветер, набегающие облака. Из облаков рождаются два лица (подплывают нос, губы, глаза — страшно!), строят друг другу рожицы, смеются, показывают розовые язычки — и вдруг, словно ветер схватил их за волосы, ветер судьбы, разлетаются в разиые стороиы. И снова огромный, космический простор иеба, и сиова все первоздаино. И просыпаешься оттого, что не хватило воздуха, как на высокой горе. А это ие гора — это знакомые кляксы Роршаха.

Но почему все-таки Роршах так популярен? Потому что в Роршахе можно проследить миогие этапы общения человека с миром: что человек может взять от мира, с какой скоростью, как использует он свою память. Тесты такого типа называются «проективиыми». Человек привносит в них себя: свои воспоминаиия, свою профессию, свое душевное состояиие. Роршах — тест уиикальный. Он предоставляет человеку полную свободу. Это не ответы типа «да — иет» и ие составление рассказов по сюжетным картинкам, как в популярном тесте «ТАТ»: «допустим, мальчик сидит, грустно облокотившись иа скрипку. Глядя на картинку, расскажите, что было, есть и будет с этим мальчиком».

Глядя иа мальчика, вы ие скажете, что это мамонт или ракета, вас ограничили сюжетом. Другое дело, что, строя свой рассказ, вы, сами того не подозревая, расскажете свою жизнь. Даже если попытаетесь придумать иечто шаблоиио-литературное, в этом шаблоне



будет ваш единственный в мире личный шаблон, детали и краски вашей жизни. И все-таки в рассказе будет присутствовать скрипка, мальчик, его грусть.

Роршах не связывает ничем. Он, как сказали бы кибернетики, задает беспорядочную информацию. Из этой информации вы создаете свои миры. Расшифровать эти миры дело экспериментатора.

В Роршахе есть несколько формул, по которым подсчитываются и интерпретируются ответы. Есть формула «Движение — цвет». Движение в тесте — показатель интеллекта. В самом деле, нужно сначала заметить в пятне некую фигуру, наделить ее неким свойством, пустить это свойство в ход, увидеть его в реальности, существующим: «Птицы летят, роты идут, облака плывут». Люди с низким интеллектом, как установлено многочисленными исследованиями, вообще не видят в Роршахе движения.

А цвет? Цвет — барометр эмоционального настроения. Когда после черно-белых карточек иному испытуемому внезапно показывают цветную, вместо десяти секунд ему нужно двадцать, чтобы дать ответ. Двадцать секунд он не может найти образ. Но если человек видит в Роршахе только цвет, если цвет заслоняет все остальное, если человек мечется по цветовым пятнам, не в силах справиться с собой, — это свидетельство бьющей через край эмоциональности.

Самая резкая реакция в этом тесте бывает, конечно же, на цвет красный, хотя в подлинных картах Роршаха он нежен, розоват и нестрашен. Но... огонь, кровь. Огонь пожара, огонь выстрела, кровь — красный цвет действует чисто физиологически. Это пришло из далеких времен, это запрограммированная в нас генетически тревога.

Черный, серый, голубой, зеленый... Вот основные цвета, представленные в тесте, и тут стоит отметить, что Роршах первым ввел цвет как способ исследования человека.

Формула «Движение — цвет» меряет, чего в человеке больше — интеллекта или эмоциональности. Счастливая гармония, как показывает опыт, встречается редко.

Важный показатель по Роршаху — форма пятна. Что человек видит, как он оценивает карту: всю сразу или фрагментами. Количество ответов по всему тесту

показывает, что «ведет» в человеке: способность объять целое, интеллект логический, разработанный, привыкший упорядочивать действительность, или хаос, беспорядок, жажда за что-нибудь ухватиться, лишь бы ухватиться.

А как важно, что именно видится в пятнах Роршаха! Как важен сюжет! Тут выясняется довольно странная вещь: казалось бы, человеку предоставляется полный простор — можно высмотреть в кляксах весь живой и предметный мир. Но мир этот, как показывают сотни тысяч экспериментов, умещается с небольшой натяжкой всего в несколько условных категорий, которые называют испытуемые при обследовании: животные, растения, человек, география, анатомия, рентген, огонь, архитектура... Странновато мы квантуем мир, не правда ли?

Самый частый, банальный ответ по Роршаху — звери. Звери, птицы, рыбы. Звери нейтральны. Их легко вообразить. «Количество животных», да пусть не рассмешит читателя эта формулировка, — показатель умственной энергии, активности ума. Если тест провести дважды в день — утром и вечером, вечером «звериных» ответов будет гораздо больше, на 20—30, чем утром: к вечеру человек устает, взлеты воображения, богатство ассоциаций — это труд. Вечером в ход идет то, что легче видится.

Анатомия, рентген, огонь, архитектура — каждый как самостоятельный признак, что же это такое? Вещи очень разные и вместе с тем похожие — огонь и рентген, анатомия и архитектура, если испытуемый видит это, значит, в нем заложены, как заряд в пушку, тревоги, беспокойства, эмоциональные беды. Только вот когда выстрелит пушка, если уже есть заряд? Роршах не прогнозирует, он констатирует: порох есть, и он сухой, и человек может взорваться. При полном душевном благополучии не увидит испытуемый рентген легких там, где проще увидеть бабочку или ту же летучую мышь. И не увидит он сердце, истекающее кровью. И не будут ему чудиться в каждой картинке окна, двери, рвы, крепостные валы, соборы.

Архитектура, архитектурные детали, так же как огонь, оказывается, далеко не безразличны для человеческого восприятия. Тяга к геометрии замкнутых пространств, жажда спрятаться, отъединиться от мира

за призрачными рубцами роршаховских пятен... Беспокойства, которые в обычной жизни человек носит в себе, вдруг прорываются, и там, где один безмятежно видит одуванчик, другой смятенно разглядит подавляющие контуры стальной конструкции.

...Что тут скрывать, внешне объяснения по Роршаху часто напоминают высокоинтеллектуальную игру, ведущую начало от идей раннего Фрейда. Да, это так. Но вот совсем недавний эксперимент французских психиатров.

Обследовались три группы людей — вернее, изучалась тема «Искусство и психика». Группа больных художников, группа больных нехудожников, группа здоровых художников-профессионалов. Разбору подвергалось и творчество давно умерших мастеров: там были Гойя, Гоген, Ван-Гог и другие.

И вот что обнаружилось. Есть в их рисунках нечто общее, объединяющее, есть общие для всех принципы выражения личности. Есть черты, объединяющие только профессионалов, больных и здоровых. И наконец, есть то, что свойственно только «больному» искусству — как профессиональному, так и непрофессиональному.

Художники и нехудожники, больные шизофренией, обязательно ограничивают свои рисунки рамками, как бы отгораживают себя. Только отгородившись, они начинают рисовать. Они делят уже не просто на листе бумаги, а на «своем» пространстве лист на три-четыре горизонтальные полосы и заполняют их постепенно снизу доверху, причем вверху, как в искусстве древних, помещают главное, нечто грозное, того, от кого все зависит... Психика разбалтывается от болезни, спускается на нижние этажи, теряет навыки современного мышления.

И еще: у обеих групп больных изображения на рисунках налезают друг на друга, как в творчестве детей. Море, небо, лодка... Лодка перекрывает все — она выше неба. Потому что только в лодке спасение. Или тоже лодка. Крошечная. И в маленькой лодке — огромный человек.

При мании преследования в рисунках выделяются прежде всего глаза, все наблюдают друг за другом, никто не поворачивается ни к кому спиной: это опасно. У маниакальных больных рисунок заполняет всю по-

верхность: лицо одного превращается в спину другого, линия входит в линию. Психика работает судорожно, избыточно, чрезмерно.

И всю эту спутанность, завихренность мира четко отражает рисунок. Больше того, особенности рисунка способны подсказать диагноз. Очевидно, в будущем, когда разработают методику эксперимента, эти опыты станут основой чисто графического исследования личности.

Возвращаясь же к архитектурным сюжетам Роршаха, можно теперь с большей определенностью сказать, что архитектура появляется там, где человек жаждет воздвигнуть в себе внутренние крепости. И потому в любом пятне он отыщет забор, за которым можно укрыться.

...Форма, цвет, движение фигур, время, требующееся для ответа. С разных сторон проникает Роршах в человека. Подсчитывается число ответов, подставляется в формулы. Формулы сравниваются. Одна формула, одна тревожная цифра ничего не значат, как вполне незначаща одна крепость на всю серию ответов или один зловещий рентген. Только общая картина поможет оценить структуру личности, ее потенциальные, почти заглохшие возможности, ее нынешние неурядицы.

И тут, пожалуй, начинается самое узкое место теста: формализация самого метода, самого процесса тестирования, и довольно субъективная оценка его результатов. Строгого математического аппарата у Роршаха нет, и в этом главная его научная уязвимость. Он король тестов, но он одинок в своем величии; ему можно оказывать почести, но его трудно сопоставлять с итогами других исследований.

...Петя Карпов пытается формализовать свой «кусочек» Роршаха. Современная психология очень любит непонятные слова и новые термины. В Петиной работе тоже есть непонятное слово — «деклинация». Деклинация — мера увильчивости, отклонения от нормы, от закона статистического детерминизма. Известно, то есть высчитано, что деталь «А» люди видят чаще, чем «Б», а «Б», в свою очередь... Чтобы увильнуть от жестокого закона банальности в мышлении, нужно приложить некоторое психическое усилие. Карпов пытается приспособить непокорного Роршаха к главной точке отсчета

в том эксперименте, который идет в Ленинградском университете уже несколько лет: он меряет деклинацию до и после экзаменов. Как выяснилось, после экзаменов «увильчивость» возрастает. Встряска, стресс — и студент после экзамена более самостоятельно относится к пятнам. «Он меньше раб кляксы», как сказал Петя.

...Мы давно уже выпили бутылку вина и съели весь хлеб, и Петя давно уже отказался провести меня всерьез по Роршаху: первая же беглая пробежка по пятнам открыла, что перед ним человек зловредный, склонный видеть не то, что положено.

— Вам обязательно нужно заглянуть за зеркало, признайтесь?

— Это плохо?

— Это трудно. Вы что, сами разве не знаете?

Я знаю, что трудно, догадываюсь, что, если это заложено, избавиться от тяги к деклинации почти безнадежно.

...Возле нашего дома в Москве есть детский сад. Каждый вечер видно, как укладываются спать дети, те, что на пятидневке; видно, как они прибирают игрушки, валандаются, дерутся, как в одних рубашечках убегают в туалет, чистенький, с маленькими унитазниками, и там, усевшись, ведут долгие разговоры. Вокруг уже темные окна, а туалет ярко освещен, и жизнь еще идет, в тепле, покое — минуты, заменяющие домашнюю уединенность.



По утрам, ровно в десять, сад отправляется гулять. У каждой группы свой маршрут. Одна всегда проходит под нашими окнами. И молодой женский голос, то веселый, то раздраженный, чаще равнодушный, повторяет, в сущности, одну и ту же фразу с небольшими вариациями: «Колышкин, объясни нам, что ты увидел в небе», «Колышкин, ты опять стоишь как столб, возьми свою пару за руку».

Я подхожу к окну и смотрю: неровно, разноцветно выгибаясь, как обтянутые ситцем мехи детской гармоники, бредут по тротуару ребята. Застревают на каждом шагу, внезапно останавливаются все разом, чтобы разглядеть машину, и нет способа сдвинуть их с места. Я ищу Колышкина и не могу найти вот уже третий год. Сверху, с высоты, попробуй угадай!

Наверное, Колышкин скоро уйдет из нашего детского сада. Что с ним будет дальше? Будет ли он так же непоколебимо отстаивать свою независимость? Не знаю. Пока же я просто уважаю неизвестного мне Колышкина. Он ни разу, ни в одно утро не дрогнул, он учил мужеству быть самим собой; он продолжал смотреть неведь куда, разглядывать невесть что.

...Но при чем тут Колышкин? Ах да! Совсем неясно, как у него будут обстоять дела с деклинацией, когда он вырастет. Как узнаешь? Может быть, просто пойти в сад и взять адрес, а потом через двадцать лет явиться: «Здрасьте, как у вас с деклинацией, товарищ Колышкин?» И если он до того времени устоит, ему будет приятно, Колышкину.

— Петя, а с моей деклинацией... может быть, это профессиональное?

— В какой-то мере. Иначе бы вы занимались чем-то другим. Но вообще-то, отвечая на ваш вопрос, должен сказать, что женщины гораздо больше рабыни роршаховских клякс, чем мужчины.

— Петя, — говорю я тут как можно проникновеннее. — Петя, это же прекрасно, что мы рабыни!

— Может быть, — отвечает Петя с полной серьезностью. — Кто-то всегда должен отклоняться, а кто-то все приводить в порядок.

Вежливый стук в дверь; водопроводчик, худой, на тонких ножках.

Водопроводчик пристально смотрит на нашу пустую бутылку. Потом они выходят в коридор.

— Да, — сказал Петя, возвращаясь, — вот вам личность. Раньше просил рубль — можно и не дать, а попробуйте откажите, если нужно семнадцать копеек или двадцать восемь.

...Казалось, водопроводчик отвлек нас от Роршаха: мы заговорили о теориях личности, о тестах вообще, о правомерности повсеместного их употребления. И все-таки вокруг лежали пятна и снова звали заглянуть в свое зазеркалье, в то хрупкое, непредсказуемое, что прячется в нас неведомо где.

СВИСТОК СЭРА ГАЛЬТОНА

Первые тесты появились в психологии еще в конце XIX века. Создавали их более чем незаурядные люди. Двоюродный брат Дарвина, сэр Гальтон, был, по отзывам современников, человеком блестящим, близким к гениальности. Он с увлечением занимался экспериментальной психологией и стал родоначальником спорной науки — психогенетики. Гальтон считал, что человеческий род вырождается, что после расцвета афинской цивилизации люди не сделали ничего путного, и потому пора заменить естественный отбор разумным, то есть искусственным. Вряд ли стоит объяснять, насколько были грустны последствия бескорыстных штудий Гальтона. Достаточно напомнить о расистских теориях фашизма.

Нас сейчас интересует другое. Гальтон собирался организовать появление людей на свет «по разумности». По разумности — это значило подвести итоги возможностям каждого человека. Иначе какой же тогда разумный отбор?

Так Гальтону, чтобы претворить свои идеи в жизнь, пришлось заняться измерением человеческих способностей, всяких, не только интеллектуальных. Для измерения самого высокого звука он изобрел свисток, названный «свистком Гальтона». И «линейку Гальтона» для определения способности оценивать расстояние. Множество других изобретений, сейчас уже забытых, связано с его именем. Одним из первых в мире он начал употреблять анкеты для определения типов воображения.

В 1884 году на Международной выставке здоровья

он открыл Антропометрическую лабораторию: Гальтон хотел получить статистические данные об объеме человеческих способностей. За три пенса посетители выставки проходили обследование. Ассистент Гальтона заносил данные в особые карточки. Десять тысяч человек прошли пробы Гальтона! Это был первый эксперимент такого размаха, первое массовое тестирование.

Вслед за Гальтоном в ряду изобретателей первых тестов идет имя выдающегося французского психолога конца XIX века Альфреда Бине. Этот ученый, так считает современная психология, произвел революцию в науке, измеряя интеллект непосредственно по его проявлениям.

А история переворота началась вот с чего. Министерство народного просвещения Франции создало комиссию содействия развитию умственно отсталых детей. Возник вопрос: как разыскивать таких детей, как их выявлять, по каким признакам измеряется умственная отсталость?

Альфред Бине предложил давать детям простые интеллектуальные задачи, о которых хорошо известно, в каком возрасте их легко решают нормальные дети. В итоге многолетних экспериментов возник тест — в нем измерялись память, внимание, воображение, интеллект.

Бине предложил использовать свой тест для определения так называемого умственного возраста. Умственный возраст — это совсем не то, что реальный. Человеку может быть восемнадцать, а умственный возраст его окажется лет на двадцать пять или, наоборот, на пятнадцать.

...С Гальтона, Бине начались многочисленные тестовые эксперименты. В начале века они проходили во всех крупных лабораториях мира. А в итоге привели к созданию знаменитого, широко распространенного теста КИ. Теста, определяющего коэффициент интеллектуальности. Для каждого возраста была найдена средняя норма интеллекта. Интеллектуальный возраст умножали на сто, потом делили на возраст настоящий. Получали КИ. Норма КИ — сто единиц.

КИ применяется в Америке в школах, университетах, при приеме на работу. Правомерно ли такое широкое его употребление? Тест статистически работает очень хорошо. Ясно, например, что КИ у студентов пер-

вого курса будет ниже, чем у третьекурсников, а у тех, в свою очередь, ниже, чем у молодых университетских преподавателей. Но при индивидуальном подходе тест может жестоко ошибиться. Человек, набравший КИ 130, может оказаться совсем не гением: просто хорошая память, а главное — хорошая подготовка, хорошее образование, воспитание в интеллигентной семье. И нечего ждать от него озарений! А человек, едва набравший КИ 80, даже 70, может оказаться личностью яркой и незаурядной, крупным ученым, музыкантом, поэтом.

КИ — это всего лишь интеллектуальный навык. То, что существует в данный момент. Это отнюдь не прогноз. И потому так опасно использовать его для прогноза.

В психологических лабораториях, в клиниках, где тесты апробировались на больных, в самонаблюдениях ученых (Бине заметил, что когда он возвращается с прогулки усталый, то автоматически повторяет одни и те же слова. Тогда он поставил самоэксперимент: в течение длительного времени наговаривал самые различные слова, и действительно в конце «пошли» те самые усталые «прогулочные» слова; так возник один из его тестов), в опытах над собственными детьми родились первые тесты.

Но должно было пройти еще немало лет, прежде чем тесты начали входить в практику.

«НЕ ГЕНИЙ ТЫ, СОВСЕМ НЕ ГЕНИЙ!»

В Ленинграде в тот приезд, когда я побывала в гостях у Пети Карпова, меня провели почти через все тесты, которые применяли в лаборатории Бориса Герасимовича Ананьева.

Векслер, популярная интеллектуальная проба, показался после Роршаха веселой детской игрой: он не требовал душевных сил, не возникало и гнетущего чувства добровольного самораздевания. Он проверял знания, навыки, то, что лежит на поверхности, то, что нам нужно для любой формы деятельности и вообще существования в современном мире. Векслер не придумал в этом тесте ничего нового. Из сотен интеллектуальных проб, ведущих начало от Гальтона и Бине, он просто отобрал самые надежные и объединил их под одной крышей.

Вот он, Векслер. Задание первое — «Общая осведомленность»: «Что такое гносеология?» и «Какие сосуды есть в человеке?», «Столица Югославии?» и «Основная идея «Капитала»?» Ответил верно — единица, не ответил — нуль.

Проба «Общая понятливость»: «Что вы будете делать, если в театре, где вы смотрите спектакль, начнется пожар, а знаете об этом только вы?», «Что вы предпримете, если внезапно попадете в дурную компанию?», «Что значит в применении к человеческому общению: одна ласточка не делает весны?»

Задание «Словарное»: тебе говорят слово — быстро давай синоним.

Все это пробы словесные, тут нужно отвечать словами. А дальше... Дальше нужно соображать руками, это уже считается интеллектом истинным, ненажитым, практическим. Нужно складывать кубики, чтобы получилась какая-то фигура, нужно складывать части рисунков, чтобы получился человек, или слон, или человеческий профиль; нужно разложить картинки таким образом, чтобы вышел стройный сюжет. В пересказе это просто. Когда вертишь в руках голову, ногу или хобот слона и не знаешь, куда приложить, да еще щелкает секундомер, все совсем непросто.

— Нет, не гений ты, совсем не гений, — говорит Мария Дмитриевна Дворяшина, подсчитывая баллы. — Могла бы и поинтеллектуальнее быть, прямо скажем! Самая ты что ни на есть норма. Ты только не расстраивайся. Гении, они ведь мешают, нужны обыкновенные хорошие люди. Чтоб работали, верно?

— А давайте мы ее по моим опросникам проведем — на эмоциональность, — это уже Шафранская. — Хотите? Это быстро. — И подала мне пачку карточек: ее нужно было разложить на две колоды.

— Быстрее, быстрее, не задумывайтесь, включаю секундомер!

Быстрее, не задумываясь, раскладываю: направо — налево. «Уверен в себе — не уверен», «Несколько раз в неделю боюсь, что случится что-то ужасное, — не боюсь», «Краснею не чаще, чем другие, — чаще», «Не люблю быть в центре внимания, хотя знаю, что есть люди, которым это нравится, — люблю», «Часто сержусь — не часто», «Люблю поэзию — не люблю». (Вот

ведь чует душа, признаюсь, что люблю, и отложат эту карточку в главу внутреннего беспокойства: в самом деле, глубоко уравновешенному человеку поэзия как спутник жизни вовсе ни к чему, — одни от нее волнения.)

— Итак, эмоциональная направленность вашей личности, — говорит Капитолина Дмитриевна. — Кстати, вы честно работали?

— Честно.

— Могли бы и нечестно, мне все равно, здесь каждый вопрос незаметно перепроверяется дважды. Не заметили? Посмотрим, посмотрим вашу скрытую самооценку. Сначала фактор тревожности.

Капитолина Дмитриевна считает.

— Из пятидесяти баллов тревоги набрала двадцать шесть. Почти нормально.

— Нормально, нормально, — соглашаются все в лаборатории.

— Морально-этически и эмоционально устойчива — двадцать из тридцати.

— А вы ее, Капитолина Дмитриевна, еще по Розенцвейгу поспрошайте.

И дают мне в руки толстую книжечку в переплете. Читаю инструкцию: «Внимание! На нескольких картинках вы видите двух человек, разговаривающих друг с другом. То, что говорит первый, написано в квадрате слева. Представьте себе, пожалуйста, что будет отвечать другой человек, изображенный на картинке. Напишите первый же ответ, который приходит вам на ум, в карточке под соответствующим номером. Работайте как можно быстрее».

Капитолина Дмитриевна листает страницы, я пишу. Итак, Розенцвейг — тест проективный, как Роршах. Это ясно. Картинка первая: машина, лужа, на обочине забрызганный грязью человек в ярости сжимает кулаки в ответ на объяснения владельца машины. В квадрате слева слова: «Мне очень жаль, что мы забрызгали ваш костюм, но мы, право, очень старались объехать лужу». Итак, мимо меня проехала машина, обдала грязью, остановилась. Что я скажу ее хозяину? В самом деле, что бы я сказала?

— Пишите быстрее, не задумывайтесь, важна первая реакция.

Две женщины склонились над осколками стекла;

«Как это ужасно! Вы разбили любимую вазу моей матери».

Двое мужчин ссорятся в присутствии третьего: «Вы лжец! Вы сами это знаете».

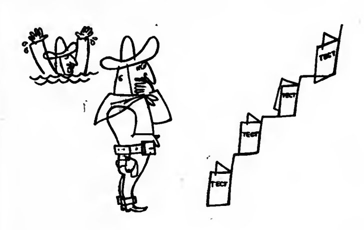
Картинка за картинкой, всего их двадцать четыре. Внезапно возникшие острые ситуации.

Что значимо, а что нет для внутренней жизни человека: разбил вазу, испортили костюм в химчистке, опоздал на поезд, попал в аварию, но выжил. Что это? Катастрофа, жизненное крушение или просто происшествие, на которое не стоит обращать внимания.

— Да, — говорит Шафранская даже, как мне кажется, несколько разочарованно, — ничего особенного. Тут тоже почти норма...

ДОМ В МАЛОМ МОГИЛЬЦЕВСКОМ

Много и часто спорят о правомерности широкого употребления тестов, об экспансии их в судьбу человека, о беззащитности людей перед лицом огромной батареи тестов, которые сопровождают человека на Западе и как-то влияют на любое изменение и продвижение по службе. Это аспект чисто социальный. Много спорят о достоверности научных выводов тестовых испытаний. Это аспект научный. Но все единодушно признают: в ряду других исследований личности тесты — гибкое и сильное оружие.



В 20—30-е годы советские психологи много работали с тестами. Тесты часто служили практически единственным инструментом исследования. На основании результатов тестов делались неоправданно широкие выводы: тесты попали в руки слишком большому количеству людей, не только профессионалов. Это вызвало вполне понятное раздражение, о нем хорошо написал Макаренко. Но Макаренко не сталкивался со специалистами: он ужаснулся психологическому дилетантизму, калечащему человеческие судьбы. Потом тесты исчезли совсем. И это было так же неоправданно, как прежде неоправданно было повсеместное их употребление.

Сейчас, тридцать лет спустя, тесты медленно возвращаются к жизни. И все-таки применяются еще сравнительно редко. Как хорошо сказал известный советский психоневролог Мясищев, это происходит «как по соображениям критической требовательности, так и по мотивам робкой осторожности».

Одним из первых в нашей стране вновь начал употреблять тесты профессор Ананьев. Начали использовать тесты и в психиатрических клиниках.

* * *

На Старом Арбате есть переулок — Малый Могильцевский. А в старом переулке не очень старый доходный дом времен начала века. А в доме том комната на втором этаже в общей квартире. Комната небольшая, потолок высокий. От таких комнат с такими потолками мы начинаем уже понемногу отвыкать.

Мебели мало. Кушетка, книжные полки, ореховое резное бюро, оно же обеденный стол, массивное, тоже резное, из того же старинного гарнитура кресло, на стене — огромная картина. На картине — море, буря, и под ветром гнется и не тонет, и летит дальше парус. В этой комнате только нужные вещи. Раз летит парус — значит, так нужно.

Бывают такие комнаты. Входишь и чувствуешь: будешь ходить сюда долго. Редко, от случая к случаю, или часто, кто знает, но ходить будешь.

Живет в этой комнате Майя Захаровна Дукаревич. Ну что может рассказать, как выражаются социологи, «словесный портрет»? Высокая, сухощавая, с седой

челкой. До самых последних лет ходила она в кожаном пальто, оставшемся от отца, старого большевика. В этом потертом пальто и походкой и обликом напоминала она всех тех, что ушли давно и безвозвратно. В прошлом году друзья сняли с нее это пальто, в котором она ходила и весной и осенью и норовила прихватить часть зимы, и заставили купить что-то обычное, как у всех. Но походка-то осталась, и челка осталась, и быт остался.

Есть такие понятия в социальной психологии — роль и статус. О ролях мы уже говорили. Роли то, что человек играет, статус — его истинное положение в коллективе. По роли Майя Захаровна сейчас психолог-лаборант Научно-исследовательского института психиатрии имени Ганушкина. (У нее была трудная молодость. В силу целого ряда обстоятельств она не смогла кончить институт.) По статусу же она отнюдь не лаборант, что-то совсем другое, выпадающее из обычных представлений о том, «кто есть кто». Она из тех лаборантов, к кому приходят консультироваться все: и просто психологи, и просто врачи, и доктора наук, и студенты, вообще не очень-то склонные с кем-нибудь консультироваться.

Дело в том, что Майя Захаровна один из лучших в стране специалистов по проективным тестам. Это ее конек, ее страсть, хотя вовсе не прямая ее работа. Не прямая, но главная, из тех, что отнимают у человека все его время. И потому, скажем, идти к ней домой, чтобы поговорить наедине, безнадежно. Всегда толчется какой-нибудь народ: психологи, студенты, доктора, приехавшие откуда-то издалека, из разных городов, поучиться, и просто друзья, и друзья друзей. И бывшие больные, уже выздоровевшие.

В этой комнате можно почитать, можно полежать, если тебе достанется место на кушетке. Можно вязать, усевшись в единственное кресло, и при этом с кем-нибудь спорить. Можно и просто молчать и думать о своем среди всеобщего шума. В этих шестнадцати метрах никто никому не мешает и никто никому не в тягость, и почему-то никогда не возникает проблемы несовместимости кого-то с кем-то. Всех совмещает хозяйка. Хотя почти невозможно догадаться, кто же здесь хозяйка.

Если вам вдруг повезет и вы когда-нибудь попадете в эту комнату, так и быть, я дам вам ориентир. Найди-

те человека, который тише всех. И который при деле: ставит чайник, накрывает на стол, разыскивает какую-то книгу. Вот это и есть Майя Захаровна. В бурных теоретических спорах тоже не слышно ее голоса. Зато когда разговор заходит в тупик или касается дела, опыта, практики, тогда уж говорит она. И ее не перебивают.

...Это только так говорят: наука безлична, сверхлична, надлична. Это правда, конечно, но очень узкая правда. Это правда, когда мы черпаем устоявшуюся науку из учебников и толстых монографий. Нам все равно, какие люди выводили эти формулы, добрые, злые или равнодушные. Но нам не все равно, если это сегодняшняя наука, тем более если это наука, вторгающаяся в человека. Разве может быть безразлично, кто ее делает и из каких побуждений? Разве не ищем мы и не находим определенных внутренних связей между личностью исследователя и делом, которым он занят?

Тихой терпимостью пронизано все, что делает Майя Захаровна.

Вот она работает у себя в институте, вот ведет дома импровизированный семинар, вот просто разговаривает. Вам нужна библиография по какому-то вопросу? Она найдет, разыщет сама в библиотеках или тут же начнет кому-то звонить, уточнять, искать концы. И как будто бы между делом, и как будто бы не специально. Вам нужен перевод, а языка вы, как водится, не знаете? Она переведет, приходите.

Когда на нее нападают, объясняя, что все из нее ведрами кровь пьют, пишут статьи, строчат обзоры, а она работает с утра до ночи и дома нет покоя, она молчит и не пытается оправдаться. А что тут оправдываться? Это же правда! Но если это единственно возможный способ жить? Что тогда? Что скажут на это советчики?

Почему я так долго рассказываю как будто бы не о «деле»? «Дело» этой главы — тесты. Да потому, что, глядя на Майю Захаровну, с какой-то пронзительной отчетливостью понимаешь, что не может быть повсеместного употребления тестов, наподобие обязательной нынче флюорографии. Просветили, посоветовали, направили на путь истинный! Как хорошо! Прелесть просто!

В работе с тестами нужны добрые и умелые руки. И умудренная опытом, светлая душа. Только тогда, на-

верное, они будут помогать. Но где их сразу найдешь, столько рук, столько душ? Да чтобы руки и душа вместе? Трудно все это, сложно...

Это тот край, где наука — пока, во всяком случае, — опасна, если не привнести в нее то, что в науке по самой ее природе не заложено.

* * *

Конечно, все это чисто субъективные ощущения. А объективно — разные тесты созданы в рамках разных психологических теорий, а разные теории часто могут прямо противоположно объяснить те или иные данные. Так что, и формально говоря, очень многое зависит от исследователя, интерпретатора теста.

И еще одно обстоятельство. Психолог Олпорт посчитал, что в английском языке восемнадцать тысяч слов обозначают психические свойства человека, претендуя на положение научных терминов. Вы представляете себе, какая возникает неразбериха? Ведь все это слова из обиходной речи. Какой смысл вкладываем мы в слова — «воля», «упрямство», «мужество»? Исчезают точность, однозначность, а значит, исчезает научность. Все это так. Но почти в каждом тесте «что-то есть», есть рациональное зерно, которое помогает заглянуть в глубины человеческой психики.

И еще одно. Тесты — это нечто глубоко присущее человеческой природе. Это «адекватный» метод исследования. В нем нет натужности. И самые первые, и нынешние, модные, они родились не на пустом месте, не потому, что блистательному сэру Гальтону хотелось преобразовать человечество на новых, научных основаниях. И не потому только, что так было нужно бурно развивающимся отраслям психологии труда.

Бессознательное непрерывное тестирование — едва ли не главное наше занятие в жизни. Голос, походка, взгляд, манера знакомиться, смех, манера плакать и манера утешать — все это простейшие тесты. Все это прогноз: «С кем я имею дело, как вести себя дальше, что будет, если сейчас я сделаю то-то и то-то?» Незаметно для себя мы все время тестируем все и вся вокруг себя. По тестам более сложного порядка мы выбираем себе друзей и единомышленников. Почти каждый

хороший проективный тест имеет аналог в обыденной жизни, в привычках, суевериях, устоявшихся шаблонах жизни.

Даже у такого, казалось бы, сверхсовременного теста, как Роршах, оснащенного сложной процедурой разбора, есть своя многовековая предыстория.

Особое отношение к пятнам, кляксам свойственно многим народам. Это старый обычай — в ночь под Новый год лить в тазик с водой расплавленный воск или олово. В случайных фигурках, плавающих в воде, гадающие искали символическое изображение своей судьбы на этот год. В фигурки из воска вкладывались, проецировались невольные опасения, тревоги и надежды, так же как теперь в сложные ответы на таблицы Роршаха.

Пятнами интересовался Леонардо да Винчи. В книге о живописи он предлагал художникам отталкиваться в своем творчестве от случайных пятен на стене, потому что это «вдохновляет на создание различных композиций». В своем трактате он учил: «Скрытые и неопределенные вещи пробуждают желание новых открытий». Он даже привел сравнение: мы так же видим разные образы в настенных пятнах, как слышим знакомые слова и имена в звоне церковных колоколов.

Правда, Леонардо да Винчи сделал корректную ссылку: первым интерес к пятнам пробудил у художников, по его сведениям, Боттичелли. Через три века врач Юстин Кернер предложил учиться «искать в пятнах художественное вдохновение». В 1857 году вышла его



книга «Кляксография». Кернер воспроизвел в ней 50 пятен, приложив к ним 39 четверостиший.

В своих пятнах Кернер увидел только устрашающие фантастические образы. И это естественно, если обратиться к его судьбе: болезнь и смерть жены, надвигающаяся слепота, тяжелая депрессия, ожидание смерти.

Первым, кто начал реально использовать кляксы как психологический тест для исследования фантазии, был Альфред Бине. После него появились работы в Америке, Англии, России. В 1910 году русский психиатр Федор Рыбаков выпустил «Атлас для экспериментального психологического исследования личности». В «Атласе» было восемь чернильных пятен. С их помощью Рыбаков определял силу, живость, остроту фантазии, реальные истоки фантастических картин.

Роршах не занимался изучением фантазии. Его интересовало не что увидел в пятнах человек, а почему именно это. Он хотел «поймать» целостную личность. И потому его тест оказался столь универсальным.

* * *

Психологи говорят, что в проективных тестах испытуемый раскрывает, как он ведет себя в обычной жизни. Роршах — это особый случай. Роршах касается структуры нашего внутреннего мира в самом общем его, не событийном плане. А вот привычки, образ жизни, душевный опыт, отношения с другими людьми, как выясняется это?

Одно из своих занятий со студентами по тесту ТАТ Майя Захаровна начала с анекдота. Старый известный анекдот. В начале Неглинной улицы в Москве человек спрашивает у прохожих, как ему пройти к «Детскому миру». Один отвечает: «Идите мимо закусочной, потом увидите ресторан «Берлин», напротив «Пельменная», потом опять будет закусочная. И вот вы уже дошли». Другой говорит: «Сначала будет магазин медицинской книги, потом букинистический, идите дальше, никуда не сворачивая». Третий: «Знаете, сначала пройдите мимо салона-парикмахерской, потом салона дамской одежды, потом будет еще маленький такой магазинчик, там тоже кое-что бывает, потом сверните направо — и вот вам «Детский мир».

У каждого прохожего разные ориентиры. Точно так же разные ориентиры видит испытуемый, когда ему предъявляют картинки ТАТ. Грубая аналогия? Но похоже на правду.

И вот перед вами картинки. И вот перед вами инструкция. «Я покажу вам несколько картин и попрошу рассказать мне, что происходит на каждой картине. Что предшествовало тому, что сейчас происходит и что станет, по вашему мнению, в будущем с ее героями. Рассказывайте все, что вам придет в голову, чувствуйте себя совершенно свободно. Опишите мысли и чувства каждого из изображенных лиц. Объедините рассказ каким-нибудь сюжетом. По каждой картинке можете рассказать несколько историй».

Перед вами мальчик со скрипкой, о котором я уже упоминала, мужчины и женщины, пейзажи, необычные и таинственные сцены — полностью структурированные поля, по терминологии авторов теста.

Методику ТАТ применяют за границей для самых разных целей. Например, для изучения интересов и склонностей молодежи при профессиональном отборе. Для этого служит особый вариант ТАТ: две серии, по 30 фотографий в каждой. На снимках люди, занятые той или иной работой. По каждой фотографии испытуемый отвечает на шесть вопросов:

«1. Чем занят человек?

2. Что он подвергает обработке (дерево, числа, идеи, книги)?

3. Какова его профессия?

4. Кем станет этот человек в будущем?

5. Расскажите в нескольких словах, что нужно этому человеку, чтобы стать по-настоящему счастливым.

6. Нравится ли вам выраженная фотографией идея?»

Анализ ответов вскрывает интересы и склонности испытуемых даже в тех случаях, когда они явно предпочитают не раскрываться. Расшифровка ТАТ вообще долгое и кропотливое занятие, не менее долгое, чем расшифровка Роршаха. Это десять-двенадцать часов работы. И потому даже чисто технически трудно рассчитывать на широкое его применение.

В клинике же этот тест оказывается большим подспорьем для постановки диагноза.

...В одну из московских психиатрических клиник поступила больная, молодая женщина лет двадцати семи:

красивое лицо, умелая косметика, спортивная фигура. Все было обычно и необычно в ее поведении. Она слишком много говорила, слишком много улыбалась, слишком стремительно бегала по коридорам, без конца звонила по телефону — словом, вела активнейшую общественную жизнь, не то чтобы совсем нелепую, но в ее положении необязательную.

Обследование продолжалось несколько недель. «Маниакально-депрессивный психоз», — говорили одни врачи. «Тяжелая истерия», — утверждали другие. Только однажды старшая сестра отделения, проработавшая в клинике сорок лет и видевшая своих больных насквозь, рассердилась: «Да оставьте вы ее в покое!»

И вот после этих слов на больную обратил внимание психолог и провел ее по ТАТ. ТАТ показал: женщина эта — одаренная, яркая, всю жизнь ей сопутствовала удача, все давалось ей легко — школа, институт, семья, работа. Но ТАТ показал и другое — несколько лет назад в ее жизни случилась беда, разрыв с человеком, которого она, употребим здесь старинное слово, страстно любила. Разрыв произошел по доброй воле; оба решили: так будет лучше. А после разрыва что-то в ней сломалось. Ее всегда несла волна успеха, у нее всегда была такая полная жизнь...

ТАТ рассказал не только о ней, но и о нем. Это был ее коллега, по-видимому, со сходным характером, тоже уверенный в себе, тоже неуязвимый для сердечных горестей, тоже — так он, во всяком случае, выглядел в ее проекции — блестяще одаренный.

Жизнь ее, потаенная внутренняя жизнь, с тех пор пошла совсем по-новому. Правда, трудно назвать это состояние совсем уж новым. У нее всегда была склонность к недовольству собой. Склонность была, но она уже к ней приспособилась, научилась подавлять, компенсировать со школьной поры. Скомпенсировать событие, которое случилось несколько лет назад, оказалось невозможным. Сначала она убежала в работу. Хороший архитектор, легко и быстро выдвинулась, получила мастерскую, по ее проектам построили несколько удачных зданий в разных городах страны.

Работа, слава не помогали. Она попробовала пить. Тайком, одна. Сделалось еще хуже. Тогда она вернулась к увлечениям юности: плавала, играла в теннис, бегала на коньках. Четыре часа спорта в день. Падала

от усталости. Но *это* не проходило. А жизнь продолжалась. Работа, семья, внешне такая счастливая. Нужно было заниматься мужем и маленьким ребенком. Все было нужно. Не нужно было ничего. Она ни разу в жизни не попадала в беду и не поднималась снова. Она не умела подниматься. Просто не знала, как это делается.

В один прекрасный день она пришла в клинику и сказала: «Спасайте, я больше не могу».

Но от чего было спасать? Она ничего о себе не рассказала. Все в ее жизни было слишком удачно и красиво. При таких ножницах внешних обстоятельств и внутреннего самочувствия это могло означать одно — болезнь. Врачи только спорили, какая именно. А ТАТ показал: во всех ответах нет патологии, сплошная норма. Только норма человека, попавшего в тяжелую беду. И вот ТАТ расшифрован. Психолог ведет с больной беседу.

— Ну как, — начала она игриво, — какие тайны во мне пооткрывали?

Ей были сказаны только лестные вещи. А потом задан осторожный вопрос:

— Скажите, а что случилось несколько лет назад?

Тут-то она разрыдалась и рассказала — первый раз рассказала, все носила в себе! — как они легко расстались, как дети расстаются, будто вся жизнь впереди, не догадываясь, что их ждет. Как тот человек изобретает свои способы бегства. Как оба слишком горды, чтобы вернуться друг к другу. Говорила она три часа подряд. Рассказ только подтверждал выводы теста: нет болезни, есть тяжелое эмоциональное состояние, так называемая «улыбающаяся депрессия». Все силы души уходят на то, чтобы никто ничего не замечал.

Своими выводами психолог поделился с лечащими врачами. Те отмахнулись: «Подумаешь!..» Но все-таки для перестраховки показали больную профессору. Профессор был очень стар. И тоже проработал в психиатрии, как та старшая сестра отделения, почти полвека. Ничего не зная о результатах ТАТ, он просто провел банальный психиатрический опрос. В конце его взял историю болезни и на последней странице написал: «Диагноз «маниакально-депрессивный психоз» можно полностью исключить».

В тот же день больная была выписана из клиники.

Что тут можно сказать? Кто знает, как сложилась бы судьба этой женщины, если бы не вовремя подоспевшее психологическое обследование? Вполне возможно, что ее не показали бы профессору и «поставили» бы ей шизофрению или что-то еще, и стали бы ее лечить, и в итоге сломали бы ей жизнь, потому что она сама начала бы относиться к себе как к душевнобольной... Когда слышишь такую историю, всегда хочется спросить (у кого?): «А что будет дальше?»

Кто же знает, что будет дальше. Психологи ведь не лечат, они всего лишь подсказывают. Психологическое обследование только помогает посмотреть на жизнь как бы в перевернутый бинокль: маленький человек в пустоте, в болезни, один. И только ему решать, что будет дальше.

* * *

Рассказ о тестах грозит стать бесконечным. Слишком их много и слишком по-разному можно к ним относиться. Есть тесты цветовые. Это не картинки и не пятна Роршаха. Это карты разных цветов, которые требуется разложить в порядке предпочтения. Считается, что каждый цвет свидетельствует об определенном отношении человека к внешнему миру, к жизни.

Есть тесты музыкальные. Испытуемым проигрывают специально подобранную классику, а потом предлагают рассказать о тех образах и темах, которые у него ассоциируются с музыкой.

Существует огромное количество рисуночных тестов. В их трактовку вкладываются самые разные психологические теории, настолько пестрые, что вряд ли можно говорить о какой-то даже минимальной объективности. Вот, например, тест «Нарисуйте дерево». Инструкции никакой. Надо просто рисовать. А потом ваш рисунок подвергнут скрупулезному анализу, оценят каждую мельчайшую деталь. Обратят внимание решительно на все: как изображены корни, ствол, ветки, листья, плоды. В рисунке дерева, по убеждению автора теста, заключена сложная символическая картина души испытуемого.

Среди проективных тестов есть тесты игровые. Это

значит, что материал теста — обыкновенные игрушки: куклы и игрушечная мебель. Испытуемым, чаще всего это дети, предлагают играть с игрушками. По тому, какие отношения устанавливает играющий между куклами, психологи изучают его установки, убеждения, характер.

Взрослым предлагают несколько измененный вариант игры. Из шестидесяти семи фигурок нужно выбрать те, которые приглянутся, и разыграть с ними какую угодно сценку. Есть и место действия — миниатюрная игрушечная сцена. Среди кукол мужчины, женщины, дети, звери, шесть сказочных персонажей, есть просто силуэты с пустыми, неразрисованными лицами.

Испытуемый отбирает фигурки, расставляет их на сцене и разыгрывает представление. Исследователь ведет протокол. Протокол расшифровывается приблизительно так же, как протоколы ТАТ.

* * *

Итак, читатель, вероятно, уже заметил: все тесты четко делятся на две группы. К одной относятся те, что предназначены для выявления отдельных сторон психики: внимания, памяти, мышления, воображения, способностей. Это тесты интеллектуальные, тесты успешности. Их еще называют количественными тестами. Вторая группа тестов — тесты личности и характера. Это проективные тесты.

Конечно же, деление это очень условно, как условно все разделяющее человека на части, потому что в обеих группах этих тестов часто в неявном виде проявляется и интеллект, и стоящая за ним личность.

Например, целая серия картинок-тестов. Собственно, это не картинки — это рука человека, указательный палец которой кончается каким-нибудь предметом. Это может быть вилка, нож, морская свинка, топор, удочка, яблоко, пронзенное стрелой, кисточка, пальма.

Тест создан в Киргизском институте философии для проверки уровня абстрактности мышления. Что видит человек на конце пальца? Насколько он способен абстрагироваться от реально нарисованного, тщательно выписанного предмета?

Указательный палец — пальма. И вот протокол.

И вот ответы испытуемого:

«Это оазис в пустыне.

Это жара, юг, Африка.

Это необитаемый остров.

Это... одиночество».

Можно ли, разбирая эти ответы, говорить только об уровне абстрактиости мышления? Разве они ничего не сообщают иам о воображении человека? Больше того, о его душевном состоянии?

* * *

Стоит или не стоит применять тесты? Где? Какие именно? Для каких целей? На эти вопросы ответы впереди. Ответят когда-нибудь. Социологи, психологи, психиатры.

Пока же идет теоретический спор двух точек зреиия, двух групп исследователей. Первая группа считает, что наука, любая, в том числе и наука о человеке, это только то, что точно, что имеет выражение иа языке цифр. Другая считает, что единство человеческой личиости измерить нельзя.

Руководствуясь первой точкой зрения, придется признать, что те тесты, где ие все поддается подсчету, не имеют никакого отношения к науке. Скорее это искусство.

Вторая группа исследователей миролюбиво соглашается: пусть тесты пока искусство, но важное и полезное, особеино когда это проективные тесты. Ведь это именно они раскрывают исследователю — врачу, психологу, педагогу — глубииы чужой души, те глубины, которые, весьма возможно, так и останутся нереализованиыми. Ведь это именно проективные тесты рождают чудо сопереживания чужой беде, ведь это оии очень часто превращают больиого, как пишет один из старейших психиатров, «из пациента в друга, а что может быть более волнующим в нашем многотрудном деле?».

Итак, гуманность заложена, казалось бы, в самой природе тестирования. Но...

И тут начинаются бесконечные «но». О иекоторых из иих мы уже упоминали. Сторонники обеих точек зрения сходятся в одном: личность исследователя не может не влиять на ход исследования. Если этот закои непре-

ложен для физики (об этом много писал Нильс Бор), то с какой же силой он действует в науках о человеке! В самом деле, искажения в результатах тестовых испытаний тем больше, чем беднее личность экспериментатора, чем меньше способен он к исключению себя, к идентификации с испытуемым. Как можно проверить в тесте уровень банальности мышления или художественного вкуса, если сам экспериментатор неумен и невежествен.

Сторонники первой точки зрения, приводя все эти резоны, возражают: «Сложность протекания психических процессов общеизвестна, входы в наши «черные ящики» — маленькие и неглубокие у всех: у медиков, биохимиков. Психологов тоже. Мы свое научимся считать, может быть, только в XXV веке! Так что же, по этому случаю вообще отказаться от помощи всего того, что не связано с точной цифрой?»

...Оставим высокие спорящие стороны. Тем более что спор этот давний, многовековой — вечный спор о тайнстве души. Тесты — всего лишь очередной предлог скрестить шпаги.

Мне же хочется в заключение поделиться с читателем собственными ощущениями.

Если тесты употребляются только во благо, если они не орудие, жестко предопределяющее судьбу человека, а только способ помочь, столкновение с ними совсем не страшно.

Тест, любой, — прежде всего игра. Тест хочет тебя поймать, выловить. А ты хочешь его обмануть, переиграть, спрятаться, перепрятаться. Ты хочешь оказаться не то чтобы умнее самого себя, но, во всяком случае, не глупее всех, кто тебе этот тест предлагает. Это же такое естественное человеческое свойство — спрятаться. Показаться немножко не тем, кто ты есть на самом деле. Прежде всего перед самим собой.

Не бояться узнать о себе правду, для этого нужно мужество. И большое.



Глава седьмая

«ОТДАВАТЬ ЛИ ПЕНЕЛОПУ НАУКЕ?»

РЫЦАРЬ ПОНЕВОЛЕ

Это было несколько лет назад. Кожаные корешки альбомов уходили под самые своды. Немыслимо, казалось, достать такой альбом сверху и вернуть обратно на место. На светло-коричневом корешке — белый квадратик: «Брейгель». Подвал под сводами — отдел репродукции Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Где еще в Москве, как не здесь, можно найти хорошую репродукцию одной из картин Питера Брейгеля мужицкого?

Огромный альбом, проклеенный изнутри мраморной бумагой, сначала не хочет открываться, потом не закрывается. Ищу долго (не ищу — спотыкаюсь, застреваю на каждой картине), но того, что мне нужно, нет. Видела в пухлом томе «Истории искусств» фрагмент: четыре детские сгорбленные фигурки — и они заворожили. А большой, полной репродукции нигде нет.

Еще альбом, современный деловой дерматин. Тоже нет. И цветного диапозитива нет. И весь отдел сочувственно обсуждает, как же мне помочь. И наконец, на столе, в читальном зале (только читают здесь не книги — картины) большая репродукция — «Детские игры».

Сколько же их, крошечных фигурок, на улицах средневекового города! Лезет на дерево мальчик, кружатся в танце девочки, кто-то очень маленький стоит на голове и еще трое мальчишек верхом на заборе. И чехарда, и ходули, и обручи, и в бочки дуют — все тут есть.

Подробности открываются постепенно: вот хоровод, не замеченный прежде, а вот двое сражаются на саблях, а вот... Улица уходит в бесконечность, в камень, неба нет.

Мир, разяще точный в деталях, и мир иллюзорный, нереальный. Кто они, эти пляшущие, вертящиеся, неугомонные фигурки? Дети, которым предстоит стать взрослыми, или взрослые, оставшиеся детьми?

Загадочный, как всякий ушедший мир, мир средневековья, с его заданностью, предрешенностью, когда все, казалось бы, стоит и все только начинается. Эпидемии, войны, страхи, суеверия, костры инквизиторов,

Этот прыгающий на бочке мальчик, почему у него такое недетское, никакое лицо? Что с ним? Он один. И все дети одни, все сами по себе на этой картине.

Они не общаются, не играют. Они некоммуникабельны, как сказали бы мы теперь. У Брейгеля все смотрят в себя, и все заняты собой. Даже в «Крестьянской свадьбе». (Еще несколько лет назад современное кино позавидовало бы смелому кадру — свадьба спиной к зрителю; такие кадры любят теперь грузинские кинематографисты: длинный стол, обилие еды, милые подробности быта, и среди этих подробностей чисто брейгелевское: на переднем плане в куче пустых кувшинов ребенок, что-то жующий, — один, отъединенный, забытый.)

Нидерланды, XVI век. Нищие, слепые, свадьбы, катанья на коньках, пьяные, драки, пляски мертвецов. Крушение устоев, конец Возрождения. Реформация. Мир, который оставил старый бог. Опустошенность и страх прячутся на чердаках островерхих крыш.

...Музей Пушкина, подвал под сводами, тихо-тихо.

— Мы скоро закрываемся, пора.

— Да, да, сейчас. — И напоследок еще раз в Брейгеля. Откуда у него этот взгляд — всегда сверху, эта приподнятость Над?

Сверху — значит, с высоты; с высоты — значит, с собора. Откуда же еще взяться высоте в этой равнинной стране? Соборы строили веками, они обваливались, их начинали заново, и каждый новый рубеж — знак победы человеческого духа. Каждый строитель, даже простой подмастерье, должен был преодолевать себя, свою боязнь пространства, боязнь высоты: нужно было перебегать по шатким мосткам, да еще с грузом в руках (а какая тогда техника безопасности?). Падали, разбивались, строили...

Я хожу по улицам, смотрю на подъемные краны, кабина крановщика чуть ниже обычного готического собора. Крановщику надо подниматься по бесконечной лестнице и одиноко сидеть в хрупкой кабине в холод, ветер и слякоть. Они не такие, как мы. Они другие. Но над их головами так же, как над нашими, летают самолеты, а внизу вьются машины, и в ночную смену они глядят в небо и знают, что небо живое, что там летали и оттуда вернулись.

А XVI век? Тогда взгляд с высоты — новое зрение, прозрение мира, — город, улицы, люди, долины. Иной масштаб духа. Взлет над обыденностью. Брейгель все это знал. Он ощущал высоту как преодоление. Он ощу-

щал высоту острее, чем мы. Когда летишь на ТУ-104, высоты нет, есть изнанка облаков, для высоты нужна земля. А на земле — играющие, страдающие люди.

Воздух давно минувших эпох. Как его восстановить? Какие там составные части, в каждом времени свои? Психологическое прошлое человека, может ли здесь быть найдено нечто определенное, строго научное? Гёте устами Фауста иронизировал над подобными надеждами.

Вагнер.
Однако есть ли что милей на свете,
Чем уноситься в дух былых столетий
И умозаключать из их работ,
Как далеко шагнули мы вперед.
Фауст.
О да, конечно, до самой луны!
Не трогайте далекой старины,
Нам не сломать ее семи печатей.
А то, что духом времени зовут,
Есть дух профессоров и их понятий,
Который эти господа некстати
За истинную древность выдают.
Так представляем мы порядок древний,
Как рухлядью заваленный чулан,
А некоторые еще плачевней —
Как кукольника старый балаган.
По мнению некоторых, наши предки
Не люди были, а марионетки.

...Брейгеля и Фауста вспоминала я, сидя на одной из секций Третьего Всесоюзного съезда психологов, вспоминала строчки, поразившие в юности: «...то, что духом времени зовут, есть дух профессоров и их понятий». Вспоминала стол в студенческом зале Исторической библиотеки; день за днем, месяц за месяцем, сменяя друг друга, громоздились на нем пухлые тома. Юность бесконечно самонадеянна: отметая дух профессоров и их понятий, пыталась я почувствовать средневековье так, как чувствовали его современники.

И сейчас, пока Людмила Ивановна Анциферова читала свой доклад «Принципы историзма и историческое развитие психики», давнишнее студенческое чувство — надежда реставрировать в воображении прошлое — вновь охватило меня. Охватило с особенной силой и потому, что четыре детские брейгелевские фигурки в шутовских позах — зеленые балахоны, белые высокие чулки — настойчиво расположились в памяти; и, сколь-

ко я ни отбивалась от навязчивой ассоциации, хороводились вокруг.

...Свой доклад Анциферова сделала сухо, деловито, точно уложившись в отпущенные по регламенту пятнадцать минут. Но когда она кончила и вышла нз аудитории, презрев приличия, я вышла вслед за нею.

И сразу же, в ту же секунду между нами начался быстрый, лихорадочный разговор из тех, когда времени так заведомо мало, что собеседники и не пытаются быть логичными. Да мы и не были собеседниками. Задавать вопросы было бессмысленно. Это был монолог. Разгоряченная Людмила Ивановна сама спрашивала и сама отвечала.

— Все сейчас исследуют личность. Философы, социологи, психологи. Личность сейчас самое модное. Что такое личность в современном представлении? Это и образ нашего тела, и наше духовное и социальное «я», и наше ощущение непрерывности бытия, и «я» как источник действий, решений, поступков, и десятки других аспектов, не о них сейчас речь.

А как формировалась личность, как складывалась ее структура? Что было и чего не было в человеке две-три тысячи лет назад? Вы кто по образованию? Ах, историк! Очень приятно. Вы помните, у греков эпохи Гомера не было целостного представления о теле? Только названия отдельных его частей. Как это было связано с восприятием мира и самих себя? Нет-нет, не говорите мне то, что говорят все: слово «сома» в буквальном переводе означает вовсе не тело, а только мертвое тело.

Тут Людмила Ивановна торжественно улыбнулась, и я поняла, что правильно выбрала минуту: спокойная, должно быть, даже замкнутая в обычной жизни, сейчас она раскрывалась сама, легко и непринужденно. Ей нужен был слушатель.

— Возьмем борьбу мотивов, эту важнейшую характеристику современной личности. Дальше. Волю, чувство долга, их эволюцию во времени. Современный человек бесконечно рефлексирует, принимая решения, беря или не беря на себя ответственность. Каждый поступок зависит от массы обстоятельств. У людей первобытного общества никакой рефлексии не было, она еще не родилась. Древние греки и римляне тоже не знали ответственности. Вы понимаете, к чему я об этом говорю?

У греков отсутствовали главные свойства личности, по которым мы судим друг о друге. Какое может быть понятие о долге и чести, о воле и ответственности, если человек только инструмент в руках богов?

Монолог Людмилы Ивановны был целен, и вмешиваться с вопросами казалось бессмысленным, да и ненужным: речь шла об общем подходе, о реконструкции картины психических состояний человека в разные эпохи... Анциферова продолжала говорить о первобытных людях, о том, как, не задумываясь, бросали они жребий.

«Раз бросали — значит, задумывались, сомневались, боялись», — внезапно пришло мне в голову. Но бог с ней, с первобытностью, слишком мало мы о ней знаем! Греция и Рим. Как быть с древними греками? Взять и сразу отдать их новой науке, даже не новой, а едва родившейся. Хотя по-человечески так понятно желание этой новой науки что-то упростить, излишне схематизировать во имя попытки схватить главное, построить общую, широкую концепцию. Всякая молодая наука тоталитарна. Она не может иначе, без щита свежеиспеченных догм и гипотез. Иначе ей не выжить, не выделиться в самостоятельную силу. Всякая молодая наука надевает латы и становится рыцарем поневоле.

Но греки... Так ли уж хорошо укладываются они в схему? Долг, честь, совесть, личная ответственность. Разве не было их у героев древнегреческой трагедии? Ведь Сократ предпочел умереть, а не бежать из Афин, а как хорошо был подготовлен побег!

Современных исторических психологов трудно винить. Им нужна схема как гипотеза, как модель, с которой они могут работать. Но почему для нас этот давно ушедший мир так и остается нерасшифрованной схемой? В школе и потом, после школы, попытка понимания его приходит, даже для историка, не с курсовыми работами типа «Сатиры Аристофана и современная ему действительность», и не с первыми научными работами, и не с книгами корифеев-античников.

Просто однажды открываешь Софокла или «Диалоги» Платона, открываешь по неясному, но, если разобраться, более чем корыстному побуждению; дано тебе или нет пережить в своей жизни то, что ушло безвозвратно: войти вместе с ослепшим Эдипом в священную рощу Евменид — умирать, вместе с Антигоной стоять

перед судом Креонта на пустынной площади сурового города. Ощутить все это, а не быстренько сообразить, из-за чего там, собственно, произошел скандал: «В конце концов следует знать классические сюжеты».

Правда, скандал тогда — в других терминах — рок, судьба.

И Людмила Ивановна о роке. Хотя это не рок, а свободный выбор человека, вызов богам — правда, внешне следование их воле. Но Антигона хоронит своего погибшего брата-предателя, а сестра ее Исмена отказывается к ней присоединиться. Они верят в одних и тех же богов, но по-разному понимают свое жизненное предназначение. Это разные женщины, разные личности. Кто из них подлиннее в человеческой и женской своей сути?.. Решение все тех же вечных вопросов: как жить и для чего жить, и можно ли победить в смерти?

Нет, они знали, что такое долг, греки времен Софокла.

А Людмила Ивановна тем временем перешла к Гомеру.

— Вы понимаете, духовной жизни у человека гомеровской эпохи просто нет. Непривычно? Трудно с этим согласиться? Конечно, ведь так укоренилось в нашем сознании: «Первым был век золотой». Ну хорошо. Вспомните, пожалуйста, героев Гомера. Какие они?

— Красивые, — сказала я. — Все они очень красивые.

— А еще?

— А еще могучие и смелые.



— Очень хорошо. Теперь расскажите мне в нескольких словах об Одиссее.

— Одиссей? Смелый, коварный, изворотливый; вспомним эпизод с Троянским конем и другие события.

— Ну вот видите! — Она почти ликовала. — Что делал и где путешествовал Одиссей, вы помните, вы даете его характеристику, вырастающую из поступков. А вы может вспомнить, о чем он думал, что его волновало? Вы не можете помнить того, чего нет. А у Гомера этого нет. И не могло быть. Это доказал в своих работах французский психолог Вернан. Исследовав институт древнегреческих героев, он пришел к выводу, что обособленной внутренней жизни у человека той эпохи не существовало.

Да, Вернан, конечно, прав, крупнейший психолог, философ, мировой авторитет. Но разве внутренняя жизнь уже не зарождалась! Если бы были только поступки, а не люди, их совершающие, разве стало бы человечество так часто вспоминать гомеровских героев — не такая у нас, людей, благодарная память к прошлому, чтобы вспоминать просто так: «Вот были храбрецы, вот были ловкачи, а сам-то, сам Одиссей — хитроумен до ужаса». После Одиссея жили на земле разные другие люди, а вспоминаем его. Потому что Гомер. И потому что в его поэмах зарождение, начало личности в нашем нынешнем ее понимании.

Вернан, наверное, прав в главном. Но как легко оказалось отдать Гомера с его Одиссеем и Пенелопой науке (их и надо отдать науке, пусть пробует в своих моделях). И все-таки в гомеровских героях уже есть немножко от нас — от нашего любопытства, ревности, надежды.

Одиссей странствовал, а Пенелопа ждала его и тосковала, прогоняла женихов. И вот он вернулся и начал рассказывать о путешествии другим людям. Если бы только ей одной! О чем? О странствиях, опасностях, сражениях, сиренах, о том, что встречает каждого настоящего мужчину, когда он отправляется в путь.

А сирены? Как он их слушал! Ведь знал же, что можно погибнуть, просил привязать себя к мачте, но жажда услышать томила его. Ему это было нужно, это нужно было растущей в нем человеческой сущности.

И пусть у Гомера только деятельность: подвиги, поступки. В их череде вдруг неожиданный взрыв. Тем

ярче он слышен нам — рождение человеческой личности...

Людмила Ивановна говорила уже о психологических особенностях древних:

— Главное вы ощутили? Психологи пытаются понять, как человек начал распоряжаться собой, своей психической деятельностью, которую раньше не осознавал, как и в какой последовательности рождались свойства личности. Тут масса любопытного: и как среда ставит перед человеком задачи, и как у человека в ответ на требования среды возникают новые структуры поведения. И актуализация возможностей человека через знание его прошлого...

Наш разговор не кончился, прервался. Людмилу Ивановну позвали на обсуждение доклада.

ВЕЧЕРНИЙ РАЗГОВОР

Мы ужинали в подвальчике «Ленинграда», самого модного (по слухам) вечернего ресторана Киева. Председательствовал профессор Поршнев. А дальше по порядку сиде́ли молодые психологи — Андрей Брушлинский (Институт философии Академии наук СССР), Рита Бобнева (Институт социологии Академии наук СССР), Арон Брудный (Институт философии Академии наук Киргизии). Если учесть комбинацию характеров, мы сидели не за столиком — на пороховой бочке, готовой взорваться от одного неосторожного слова. Каждый в этой узкой компании кандидатов и докторов наук что-нибудь воинственно отрицал: работы того или иного ученого, ту или иную психологическую школу, те или иные методы экспериментирования.

А еще... Кто-то наверняка терпеть не может любимого «снежного человека» Поршнева (а на поиски его Борис Федорович потратил столько времени, сил и страсти) и вот-вот выложит ему свои доводы, не стесняясь в выражениях. Кто-то непременно скажет, и я даже догадываюсь, кто именно, что науки психологии, в сущности, нет, и социологии тоже нет, а значит, нет и их симбиоза — социальной психологии.

— Помилуйте, почему вы столь решительны? — возразит, вероятно, Борис Федорович. — Что за мрачность в ваши лета! Однако вы меня фрондерством не прове-

дете, я читал вашу кннгу: дельная работа, с позитивным подходом. Зачем же самого себя ниспровергать?

— Да что вы, Борис Федорович, разве я ниспровергатель? Я мирный человек. Вот Андрей у нас — он и есть ннспровергатель. Он, Борнс Федоровнч, кнбернетнческие методы в изучении психики отрицает.

— Как, совсем?

— Совсем.

— Да, да, я читал тезисы вашего доклада. Не разделяю ваших идей.

— Тогда позвольте мне объясниться. — И, четко отмеряя силу доказательств наклонами головы, Андрей Брушлинский откроет дискуссию. И дискуссия эта будет острей н парадоксальней вялых околосъездовских разговоров.

Да, снтуация за столом назревала острая, напряженность росла. Сейчас начнут спорнть, говорить друг другу нзысканные колкости. А может быть, это хорошо? Может быть, так и надо — хоть изредка сталкиваться между собой совсем разным людям, чтобы говорили друг другу бог весть что.

«Есть две вещи, которые нельзя путать, — сказал мне как-то Брудный, — спорт размышлений и труд мыслей. Чтобы главное, о чем думаешь, перешло в труд мыслей, нужен спорт размышлений».

Чем не спорт этот вечер? Пусть кидают друг другу мячи! Так редко случаются такие неожиданные и острые вечера в нашей замкнутой, идущей в своих привычных для каждого кругах жнзни, что пусть они будут, пусть случаются!

Нет, к сожалению, все обойдется. Яростных споров не будет. Положенне спасет, как всегда, тот же Брудный. Он деликатен и все понимает. Он смягчит н не допустит.

Но положенне спасает не Брудный и даже не оркестр, оркестр гремит немилосердно — к нему мы в конце вечера приспособились и даже натренировались его перекрикивать. Борис Федорович вспоминает старый Московский уннверситет, н полемический запал уходит куда-то в сторону. И я наблюдаю то, с чем сталкивалась уже не раз: молодое поколенне психологов с каким-то особенным, почти болезненным интересом относится к иедавнему прошлому своей наукн.

У математиков, физиков — словом, у представите-

лей преуспевших наук — совсем иная, хорошо отработанная система воспоминаний. Иная тональность их. Чаще всего это короткий рассказ-быль, построенный в форме анекдота. Рассказ типа:

«Однажды к Дау (Ландау) приходит ученик и спрашивает...», или: «Только циклотрон построили, приходит к сторожу приятель и говорит: «Вась, покатай на циклотроне». Разогнал он циклотрон и...»

У психологов веселого фольклора почти нет. Зато есть неистребимая тяга к разговорам о прошлом и есть страх, что, незаписанное, оно забудется. Непростое прошлое психологии воплощено для них не столько в нереализованных идеях (наука не стоит на месте, и идеи все равно уже реализованы), сколько в ушедших людях. Потому, должно быть, воспоминания почти всегда непрофессиональны, в них важны не идеи — люди. Человек, его поведение, быт, привычки: как читал лекции, с кем дружил, кого из учеников любил.

...Борис Федорович вспоминал первых советских психологов, чьи лекции он слушал, с кем начинал сотрудничать. А потом заговорил об исторической психологии, о реальных трудностях, ожидающих всякого, кто решится ею заниматься, о необходимости особого, синтетического образования, о том, что получить его можно только самостоятельно, ибо психологи, по инерции упоминая об историзме психики, предпочитают не заглядывать в историю, историкам же непривычны методы мышления психологов. И потому вся психологическая история человечества, за исключением нескольких отреставрированных кусочков, — огромная неподвижная стихия.

* * *

Только вернувшись в Москву, порывшись в каталогах, я прониклась оптимистической горечью Поршнева. В Ленинке — ничего, в Исторической — тоже ничего, в библиотеке Института психологии несколько небольших обзоров. Обзоры признавались: сложности исторической психологии не только в молодости самой проблемы, они тесно связаны с неразработанностью и беспомощностью современной психологии.

Тут, пожалуй, следует сделать маленькое и не очень занимательное отступление.

Для всякого конкретного исследования в любой науке прежде всего нужна гипотеза, система правил, связей, перспектив. Ими должен руководствоваться ученый. В исторической психологии при огромном числе противоречивых теорий, при необозримости подходов к человеку эти первоначальные принципы особенно важны. Собственно, иначе просто было бы неясно, с чего начинать.

Французские исторические психологи исходили из того, что психика, сознание, личность человека не неизменны на протяжении истории. Человек меняется, меняется его тип мышления, его восприятие, его сознание. Поэтому в своих работах француз Иньяс Мейерсон выдвинул метод анализа низшего через высшее: «Различные формы умственной деятельности, сменяющие друг друга на протяжении тысячелетий, следует сравнивать с психикой современного человека». Неполное исследование через совершенное, едва наметившиеся психические функции — через вполне развитые.

Значит ли это, что современный уровень сознания — высшая точка развития и человечеству суждено навсегда остаться на нынешней ступени психического развития? Нет! Психика человека непрерывно развивается вместе с развитием общества, и развитие это бесконечно.

Но плодотворный для других наук принцип — «низшее через высшее» — применить в психологии сложней, чем где бы то ни было. Высшее — это сегодняшний человек, индивид, личность.

Что знает о нем наука? Набор пестрых обрывочных сведений, сотни теорий, тысячи экспериментов, произвольно толкуемых, — архитектура психической жизни человека известна мало, реконструированы лишь некоторые блоки, установлены отдельные связи, но самого здания психологии нет. Нет эталона.

Историческому психологу сравнивать прошлое не с чем.

И все-таки что же главное в человеке? Пусть мы не знаем подробностей (а если какие-то и знаем, то подробности эти рассыпаются, как стекляшки в сломанном детском калейдоскопе), но должна же быть рабочая гипотеза! Мейерсон в качестве главного выделяет труд и регулирующие его умственные структуры. «Труд — основная деятельность человеческого общества

и в то же время его главная психологическая функция. Труд — стержень личности человека XX века, в труде он является более всего самим собой... человек только предчувствует, чем мог бы быть для него труд!» — оптимистически восклицает Мейерсон.

А раз так, то, очевидно, можно изучать психику человека по продуктам его труда. В исторической психологии фигура человека правомерно выступает как тот X, то неизвестное, свойства которого должны быть восстановлены по результатам его созидательной деятельности... В последовательности творений психолог должен найти ум, который их создал, выявить его уровень, аспекты, трансформацию и, таким образом, через историю творений воссоздать историю ума, историю психологических функций.

Итак, психологический анализ материальной и духовной культуры. Естественно, внимание психологов привлекают переходные моменты в истории человечества. Распад первобытнообщинного строя, выделение классов, рост городов, развитие ремесел — весь этот привычный перечень впервые в истории науки рассматривается под новым углом зрения: как усложнялся, перестраивался в процессе этих изменений человек.

Разрыв кровнородственных связей, объединение людей по чисто территориальному признаку привели к повышению роли эмоций в общении людей. Для того чтобы ладить с другими, «чужими» людьми, нужно было научиться осознавать как чувства этих людей, так и свои собственные. И вместе с тем появление полиса то-



же, в свою очередь, результат больших изменений в мышлении человечества. Абстрактность мышления увеличивается: появляется произвольность в территориальном делении, провозглашается равноправие граждан независимо от профессии, происхождения и прочего. Наконец, появляются деньги и с ними вместе новое абстрактное понятие ценности.

Все это отпечатки новых состояний человека.

Но о многих психических функциях судить только по сохранившимся «творениям» довольно трудно, часто же почти невозможно. Здесь нужны иные способы психологической реставрации, иные, еще не разработанные наукой методы исследования.

Особенности восприятия времени, движения, пространства... Как быть с ними?



Глава восьмая

ЧТО НЕСУТ НАМ РЯДЫ ИЗМЕНЕНИЙ

ВРЕМЯ

Время — традиционная проблема психологии. Но старейшая проблема вовсе не значит самая разработанная. О времени существует огромная литература, философская, историческая. Об утраченном времени пишут ученые и поэты. Психологических же работ на эту тему довольно мало.

Что знает о нашем чувстве времени современная психология? Современные скорости, необходимость сверхточной ориентировки заставляют человека тренировать «чувство времени», отрабатывать его, учиться ощущать временные интервалы вплоть до секунды.

Существовала ли подобная проблема прежде? Лишь в XVI веке появилась на часах не секундная, минутная стрелка. Вплоть до XIV века часы вообще предмет роскоши. Не только минута, час как отрезок времени почти не воспринимается. Да что там час! Год, годы!

Геродот, описание легендарного путешествия финикийцев вокруг Африки: «Ливия», оказывается, кругом омываема водой, за исключением той части, где она граничит с Азией; первый доказал это, насколько мы знаем, египетский фараон Нехо. Приостановивши прорытие канала из Нила в Аравийское море, он отправил финикиян на судах в море с приказанием плыть обратно через Геракловы столбы, пока не войдут в Северное (Средиземное) море и не прибудут в Египет. Финикияне отплыли... При наступлении осени они приставали к берегу и, в каком бы месте Ливии ни высаживались, засевали землю и дожидались жатвы; по уборке хлеба плыли дальше. Так прошло в плавании два года, и только на третий год они обогнули Геракловы столбы и возвратились в Египет».

Геродот эпически спокоен, описывая необычайное путешествие. Поведение финикийцев не вызывало у него удивления: им некуда было торопиться, они сеяли хлеб, мирно ждали урожая, плыли дальше.

Для XX века задержка в пути — одно из самых раздражающих впечатлений. Переполненные аэропорты, вокзалы, забитые людьми... Почему нас это так травмирует, почему нас так угнетает состояние ожидания? Я в командировке, у меня есть лишние деньги, есть книжка для легкого дорожного чтения, я один в чужом, незнакомом городе. Ходи отдыхай, расслабься, нако-

нец, воспользуйся паузой, подаренной аэропортом, сей свой торопливый не финикийский хлеб, собирай урожай новых впечатлений. Так нет же! Куда там! К моменту объявления посадки в самолет внутри у нас словно что-то перегорает то ли от ощущения прерванного движения, то ли от ощущения собственного бессилия: я заключен, заверчен внутри машины.

Для древних беспомощность перед стихиями была настолько естественной, что принималась спокойно, как данность, как норма бытия.

...Для греков время — это смена сезонов года, это празднества, связанные с умиранием и возрождением природы. Средневековое время тоже подчинено ритмам природы. Вплоть до самого нового времени точность чужда сознанию человека. О какой точности можно говорить, если даже сутки в средневековье делились не на равные промежутки, а на часы дня и часы ночи. От восхода солнца и до заката. И от заката до восхода. Получалось, что летом длиннее часы дня. Зимой, когда рано темнеет, часы ночи. Главный отсчет времени — бой церковных колоколов.

Ценность времени не ощущалась. Оно не имело самостоятельного значения, оно слито с бытием. Оно бесконечно. И математики в своих учебниках, объясняя, что такое бесконечность, любят приводить в пример индийскую притчу. Представьте себе огромную алмазную гору. Раз в тысячу лет к ней прилетает птичка поточить себе клюв. Когда она сточит гору до основания, пройдет одна секунда вечности.

Для нас это не пример из математического учебника. Для нас это пример восприятия времени. У времени нет вектора, время стоит — вот в чем фокус. И все вокруг стоит в целости и сохранности, как стояло сто, двести и тысячу лет назад. Вспомним сказку о спящей царевне: злая фея заколдовала принцессу, принцесса укололась о веретено, и весь замок погрузился в сон, который длился ровно сто лет. Сказку эту рассказывают обычно в назидание молодым девицам (мне тоже рассказывали): как щедро ни наделяет природа умом и красотой, на всякую красоту найдется злобная одиннадцатая фея, веретено на заброшенном чердаке караулит счастье. В этой сказке меня сейчас занимает другое, вот какое обстоятельство. Через сто лет, когда замок оживает, прерванная злой силой жизнь возобновляется

немедленно: за сто лет на земле ничего не изменилось.

Во всех сказочных историях исчезновений и превращений, если прочитать волшебные сказки с этой точки зрения, во всей литературе вплоть до XIX века поражает эта убежденность в неизменности внешнего мира, в прочности сложившегося уклада.

...Готические архитекторы закладывали соборы, зная, что завершения строительства не увидят ни они, ни их дети. В буддийских монастырях сохранились нефритовые Будды величиной с человеческий рост. Нефрит — камень, с трудом поддающийся обработке. Подобные статуи делало обычно три поколения: дед высекал грубые очертания человеческой фигуры, сын прояснял контур, внук завершал отделку. Нефритовый Будда — это многие годы непрерывной ежедневной работы. Для современного уха это звучит неправдоподобно, индийцы же не видели здесь никакого чуда.

Общеизвестно, что чародейство старинных скрипок невоспроизводимо: секреты мастерства утеряны. Стоит попытаться понять, утеряны ли секреты или это мы изменились настолько, что утратили — психологически утратили — способность делать подобные уникальные вещи. Хорошая скрипка — это хорошо просушенное дерево. Нужно отыскать дерево, суметь надрезать его особым способом, чтобы оно засыхало медленно-медленно, в течение 20 лет.

Секрет старинных скрипок — в секрете надреза. Кто станет сейчас искать этот секрет? Кто сейчас уверен в том, что через 20 лет будет стоять тот лес с засыхающим деревом? Так же как народ в сказке о спящей царевне, скрипичный мастер не загадывал на 20 лет вперед, не рассчитывал, стоит или не стоит ждать, он просто жил в уверенности, что лес будет расти, а дерево сохнуть. Он не ощущал эти 20 лет как потерю, как невозвратность, как возможность иных реализаций своего мастерства. 20 ли, 100 ли лет работы, разве это срок на фоне вечности!

...Россия, вторая половина XVII века, время царя Алексея Михайловича. Соловецкий монастырь отказался менять старые церковные книги. На приведение монастыря в порядок был послан отряд стрельцов в сто человек. Но у осажденных большие запасы провианта и 90 пушек. Осада затягивается на девять долгих лет.

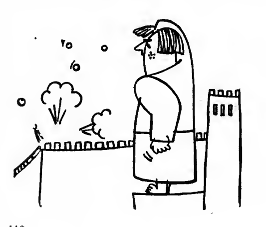
Что делали стрельцы на этой скудной земле под

стеиами моиастыря девять лет? (Снлы осаждающнх все прибывали.) Зимой уходили на зимиие квартиры, летом удили рыбу, собиралн ягоды. Почему-то кажется, сажали по весие н собиралн осеиью картошку. (Нет-нет, картошки на Руси еще ие было.) Гляделн друг на друга, один снизу, нз деревии, другне сверху, с высоты моиастырских стеи. Все друг про друга знали, про привычки, характер, успели друг другу иадоесть. Девять лет — треть, почти половина тогдашией активиой мужской жизни, — проведеиные в томительной скуке.

И так бы все это длилось, если бы один моиах, по нмени Феоктист, ие оказался перебежчиком: не смог ои изо дия в деиь глядеть с монастырской стеиы, как изменяет ему с солдатами любимая девушка. Девять лет терпел, на десятый сдалн нервы, указал стрельцам плохо заложеииое камиями отверстие в стеие. В одну из метельиых зимних иочей моиастырь был взят. Защитиики его просиулись слишком поздио.

Историй таких сотни, тысячи — осад, растяиувшихся иа годы, войи, длившихся десятилетиями. Почему же мие вспомиился этот полузабытый эпизод нстории?

Когда виднщь проем в стене, его охотио показывают местиые жнтели, когда слышишь легенду о том, что еще в иачале века измеиику Феоктнсту пели анафему, когда отмериваешь расстояиие между крепостными стеиами и деревией, всего каких-то метров триста, невольно пытаешься представить себе эти девять лет, мысли, иастроеиия, быт воюющих сторон. Ощущали ли оии то-





мительность времени, чувствовали ли они себя несчастными оттого, что время проходит столь тягуче-глупо (у монахов хоть было утешение: они страдали за старую веру). Нет, жизнь эта скорей всего была нормой. Другого эталона, другой жизни не было.

Наша свобода, наше понимание движения времени оплачены дорогой ценой, ценой миллиардов жизней, бесследно прошедших по земле, скучных и пустых, как эти девять лет бессмысленного соловецкого топтания.

Правда, бывали в истории годы, даже десятилетия, когда человечество просыпалось, время оживало, люди словно подталкивали его в ожидании волнующих событий. Когда город или целая страна становились на время центром потрясающих умы современников событий.

Таков был Лиссабон времен путешествий Васко да Гамы. Венецианцы, генуэзцы, фламандцы, немцы, англичане — авантюристы и безработные кондотьеры боялись упустить свой шанс. Город был переполнен. На улицах с утра до ночи толпился народ. Люди кучками собирались вокруг шатающихся на набережных матросов и, раскрыв рты от изумления, доверчиво слушали рассказы об Индии и ее чудесных богатствах. В толпе сновали шпионы, венецианские, генуэзские, шпионы тех стран и государей, которые боялись выдвижения маленькой Португалии. Шпионам было что послушать. Множество купцов со всех концов Европы лихорадочно проворачивали свои дела. Сотни людей были заняты на сооружении складов, предназначенных для приема легендарных индийских грузов.

Все помыслы города были связаны с путешествиями, завоеваниями, морем. В доках стояли корабли большие и малые. В арсеналах накапливались запасы свинца, меди, селитры, серы. Ядра, шлемы, нагрудники — их нужно было много в предвидении великого будущего.

Наступал вечер. Закрывался невольничий рынок. Возвращались с рыбных отмелей рыбачьи лодки с ржаво-красными парусами. Тушили свои жаровни продавцы каштанов. Удалялись с людных перекрестков писцы, сочинявшие все что угодно: стихи, эпитафии, любовные письма, деловые прошения. Приморские таверны и кабаки наполнялись подгулявшими матросами. Случайные прохожие боязливо жались к стенкам родного, так странно изменившегося города, ставшего вдруг опасным и неузнаваемым.

Таков был Лиссабон в преддверии своего могущества, город, оживший на несколько десятилетий благодаря великим географическим открытиям. А потом Лиссабон ушел в тень. Остались только великолепные дворцы, огромные доки, воспоминания... Время переменило столицу, снова потянулось, поплелось, снова стало бесцветным.

В XX веке время пульсирует с такой скоростью, что эту пульсацию мы успеваем почувствовать, уловить, осознать. Современный заспавшийся Рип ван Винкль не узнал бы своего родного поселка. Что поделаешь, биография среднего человека XX века вмещает, по крайней мере, пять биографий века XIX.

Не стоит снова и снова рассуждать о причинах наших биографических излишеств. Важно одно: мы ощутили время как независимую от нас и грозную силу. Для нас время — это прежде всего изменения, которые оно несет. В этом его беда. В этом его благо. Но можно ли так легко забыть, что всего лишь два века назад время было символом неизменности, постоянства, покоя, вечности?

Нам, людям, на протяжении всей нашей истории приходилось приспосабливаться ко многому — защищаться от вражеских сил природы, от эпидемий, разрушительных войн. Одно было хорошо: мы жили в ладу с временем. Правда, «лад» этот носил оборонительный характер, все, что менялось, немедленно теряло свою ценность, любые перемены вызывали подозрение.

«Лад» был мечтой, панцирем, под покровом которого юному человечеству необходимо было спрятаться, чтобы уцелеть, выжить и стать тем, чем мы стали.

Сейчас, когда мы стали тем, чем мы стали, когда мы успешно защищаем себя и от эпидемий, и от природы, пришла пора приноравливаться к времени, к его изменениям. Приспособляемость к изменениям во времени — недавняя психологическая функция. Потому так трудно и дается она человечеству.

Существуют гипотезы, утверждающие, что мы приспосабливаемся ко времени только потому, что жизнь построена на повторяющихся вещах, на своего рода «рядах изменений» — об этом писали уже в начале XX века. Повторяемость компенсирует нам необратимость жизни. Она же помогает нам освобождаться от пережитого и мысленно путешествовать во времени.

Значит, это своего рода психологическая защита. Надежда на повторяемость как валерьяновые капли: если помнить, что все невозвратно, сердце разорвется от ужаса.

Для древних же форма нашей психологической защиты — естественное состояние бытия. Жизнь — вечное возвращение, предки повторяются в потомках, все уже было, и все еще будет нескончаемое число раз — войны, сражения, гибель и воскрешение народов и государств. В постоянном возвращении греческие философы видели одну из форм вечности.

Но все-таки как современный человек справляется со временем? Известный французский психолог Поль Фресс пишет об этом так: «Мы живем одновременно в разных рядах последовательных событий. У этих событий свои интервалы. Попробуем представить себе, во-первых, цепь событий нашей семейной жизни с ее браками, рождениями, кончинами близких. Во-вторых, цепь событий нашей профессиональной карьеры; в-третьих, цепь политических событий... В каждом из этих рядов мы можем без труда восстановить их последовательность. Но только сложным путем с помощью интеллектуальных конструкций мы согласовываем друг с другом следование событий в разных рядах».

Попробуйте-ка соединить разные ряды своей жизни в единую цепь событий. Это трудная задача, да и выполнимая ли вообще? «Вполне», — отвечает Фресс. В ответе на этот вопрос он жестко категоричен: «Интеллектуальное владение временем остается неполным, пока оно не связано с практическим владением длительностью».

Владение длительностью — еще одно психологическое понятие. Это ощущение своих возможностей в управлении временем — в минуты принятия решений, в азарте, беде, аварии, томительном ожидании. Многочисленные эксперименты показали: в спешке человек ведет себя тем лучше, чем больше его эмоциональная устойчивость и зрелость. Интерес к делу уменьшает кажущуюся длительность; скука увеличивает ее. Много раз в жизни мы переживаем эти состояния «резинового», то растягивающегося, то сжимающегося в одно мгновение времени, и всякий раз догадываемся, что наши субъективные состояния всеобщи. Мы ведь знаем, что дети и тревожные люди плохо переносят недостачу

во времени. Мы знаем: мудрость стариков — это принятие времени таким, каково оно на самом деле, с его длиннотами, нехватками и ненадежностью.

Размышляя о законах восприятия времени, исследователи самых разных психологических школ приходят к выводу замечательно простому, но трудно выполнимому, если принять его как руководство к действию: чтобы владеть временем, надо уметь владеть собой.

Так время оказывается не абстрактным философским понятием, не отвлеченной психологической категорией. Время — это драгоценная возможность осознавать свой внутренний мир, ресурсы своей личности.

ПРОСТРАНСТВО, ДВИЖЕНИЕ...

Как это начиналось? Как и когда раскололся недвижимый вечный свод небес? Как приходило к человечеству новое понимание времени? Может быть, все началось с той минуты, когда, пыхтя и кашляя, двинулся в первый путь паровозик Стефенсона? С той минуты, когда Белл сказал своему помощнику в первую телефонную трубку: «Пройдите, пожалуйста, туда-то», а валик фонографа законсервировал первую фразу — голос Эдисона: «У Мери есть овечка»?

Время понеслось, завертелось и, кажется, не собирается замедлять свой бег. С конца XIX века возникла ситуация, предсказанная Льюисом Кэроллом в «Алисе в зазеркалье». Кэролла, правда, цитируют беспрерывно — в доказательство того, как он все хорошо предвидел. Но ведь предвидел же, что поделаешь; и сейчас мне тоже трудно удержаться от очередного цитирования: слишком похоже мы живем.

«Алиса и королева бросились бежать... Самое удивительное было то, что деревья не бежали, как следовало ожидать, им навстречу.

— Что это? — спросила Алиса. — Мы так и остались под этим деревом. Неужели мы не стронулись с места ни на шаг?

— Ну конечно, — ответила королева. — А ты чего хотела?

— У нас, — сказала Алиса, с трудом переводя дух, — когда долго бежишь со всех ног, непременно попадешь в другое место.

— Какая отсталая страна! — сказала королева. — Ну а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте. А если хочешь попасть в другое место, тогда нужно, по крайней мере, бежать вдвое быстрее.

— Ах нет, я никуда не хочу попасть, — сказала Алиса. — Мне и здесь хорошо».

...Мы не девочка Алиса, мы все хотим куда-то попасть и вынуждены для этого бежать все быстрее. Мы вынуждены поспевать за временем. Это не мы, это время изменило свою скорость с тех пор, как принципиально по-иному начала циркулировать информация. Нам же остается только поспевать за временем.

Вся история человечества вплоть до появления паровоза — это 20 километров в час. 20 километров — скорость несущейся во весь опор лошади. Быстрей двигаться было нельзя и во времена Ганнибала, и во времена Наполеона. Породы лошадей, которыми располагали противники, решали подчас судьбы сражений и династий. В XIX веке хорошие лошади при хорошей голове их владельцев могли помочь составить миллионное состояние.

18 июня 1815 года. Окончание битвы при Ватерлоо. Некто мчится в карете по Брюссельской дороге к морю, где его ждет корабль. Он прибывает в Лондон. Вестей из Франции еще нет. Пользуясь этим обстоятельством, он буквально в один вечер взрывает биржу. Так Ротшильд основал свою империю.

У Шекспира в «Сне в летнюю ночь» маленький хвастунишка эльф Пэк говорит королю эльфов и фей Оберону: «Весь мир готов я облететь за полчаса». Это сказочное преувеличение, в которое верящие в эльфов современники Шекспира все равно не могли поверить: нельзя верить в невозможное. Первая попытка объехать, «облететь весь мир» — кругосветное путешествие Магеллана — длится три года. Это начало века XVI. В XVIII веке путешествие вокруг Земли занимало меньше времени, но все равно исчислялось месяцами.

Но вот наступил век XIX. Больше ста лет назад сырым октябрьским вечером начинается действие романа Жюля Верна «80 дней вокруг света». Бесстрастный англичанин Филеас Фогг заключает пари, что объедет вокруг света за 80 дней. Он отправляется в путь, а дальше все происходит так же, как в наши дни, когда

в океан выплывает Тур Хейердал или очередной его подражатель: газеты пишут, женщины волнуются. (Правда, есть разница: герой Жюля Верна использовал наиновейшие виды транспорта, современные герои норовят углубиться в седую древность — папирусные лодки, пироги, плоты. Чем древнее транспорт, тем больше ажиотаж прессы, тем больше волнений.)

Жюль Верн писал роман, досконально изучив расписания поездов и пакетботов, он славился большой дотошностью, он все высчитал и проверил: быстрее в те годы обернуться вокруг света было невозможно.

Всего 80 дней! Это поражало воображение. И Лев Толстой рисовал своим детям картинки, иллюстрации к роману. Появились реальные, не выдуманные чудаки, решившие повторить рекорд Филеаса Фогга. Повторить — да. Но не перекрыть.

Шекспировский Пэк грозился облететь вокруг Земли за 30 минут. Это не могло не веселить зрителей театра «Глобус». Спутник облетает вокруг Земли за 89—90 минут. Честно говоря, этой цифре мы не особенно удивились, уже существовала реактивная авиация, мы были подготовлены к чуду.

В том-то все и дело. Мы были подготовлены! В течение всего XX века менялось, да уже и, пожалуй, принципиально изменилось отношение человека к пространству, к преодолению его. Земной шар сжался, съежился, потерял свою таинственность. Уже один из героев Жюля Верна в том самом 1872 году горюет, что Земля уменьшилась, раз ее можно теперь объехать в десять раз быстрее, чем сто лет назад.

Психологи утверждают: появление часов вызвало к жизни новые структуры памяти. Новые способы связи — это тоже психологический прорыв. Вот что мне хотелось доказать, вот для чего понадобился столь пространный экскурс в транспортные проблемы прошлых веков. Паровоз, телефон, радио. Предпоследний прорыв — самолет. Последний — ракета. Меняется не просто скорость передачи информации и способы передвижения человека по земле. Меняется наше ви́дение мира в связи с, казалось бы, таким странным понятием, как ощущение человеком себя в пространстве. Происходит коренное изменение идеала образа жизни.

Идеал человечества на протяжении тысячелетий — стремление к покою.

Идеал второй половины XX века — движение, беспрерывная смена впечатлений. И молодые люди спускаются по бурным рекам на плотах (там, где лучше было бы вовсе не спускаться, где делать это опасно и бессмысленно), карабкаются в горы, идут в тайгу. Называется это туризм. И тысячи людей в отпуск поднимаются и едут. Впечатление, что сдвинулась с насиженных мест вся планета. Едут из одного маленького городка в другой, за тысячи километров — в гости, в отпуск.

В последние годы едут на Север — посмотреть деревянную архитектуру. Там плохие гостиницы или их нет вовсе, там нещадные комары, там от деревни до деревни надо плыть на лодке, ждать катера или парохода: неудобства северных путешествий известны заранее — все равно едут. В Бухару и Самарканд, на озеро Иссык-Куль. И цифры обработанной социологической анкеты демонстрируют поразительное: большинство опрошенных мечтало бы провести отпуск на Байкале.

Дальний Восток, пожалуй, еще только не освоен. Скорей всего не потому, что дорого стоит туда дорога. Просто не преодолен еще некий барьер расстояния, доставшийся нам в наследство от всего предыдущего развития цивилизации. Внутренняя несвобода от дальности расстояния еще жива в нас, от нее не так-то легко избавиться. Во Владивосток лететь на три дня вовсе нерационально, глупо даже как-то. Это в нас осталось. Некое соотношение между временем, проводимым в покое после дальней дороги и самой дальней дорогой.

В XVII веке воевода ехал в Якутск три года и сидел там долго, часто много лет. Курьер скакал в Якутск десять-одиннадцать месяцев. И естественно, не уезжал обратно на следующий день после того, как вручил царский пакет. Дорога, путешествие всегда были связаны с трудностями, неудобствами, усталостью. Вспомним всю литературу XIX века. Сколько в ней фраз типа: «Давши отдохнуть гостю дней пять с дороги, повезли его представлять соседям».

Летом 1831 года Пушкин пишет жене из Петербурга в имение Полотняный Завод письмо за письмом, уговаривая не ездить в Калугу: путешествие не из легких и утомит ее. Наталья Николаевна, конечно же, не слушается и едет, и танцует на балах, и Пушкин волнуется: как-то она доберется обратно. Из Полотняного Завода в Калугу ходит сейчас медлительный рейсовый авто-

бус. На автобусе этом до Калуги полтора часа, на машине — сорок минут.

Степень мучений, связанных с дорогой, — вот что нам, наверное, трудно себе представить. В кино ведь все выглядит романтично: лошади, дорога, тулуп, ямщик. Разве эти кадры не волнуют, разве нас не охватывает легкая ностальгия по давно ушедшему обиходу жизни? И мы забываем при этом, сколько, потеряв, приобрели. Раньше, проехав сорок верст, оседали в гостях, по крайней мере, на неделю. Мы на неделю улетаем отдохнуть в Крым. Ибо наша тысяча километров — это даже не прежние сорок верст.

Разница между тем, что было, и тем, что есть, психологическая, в быстроте преодоления пространства. Мера дискомфорта в пути остается все та же: воздушные ямы не более упоительны, чем ухабы на разъезженной колее. Сам процесс передвижения и сейчас, казалось бы, не приносит особенной радости.

На глазах и памяти буквально последних двух поколений идеалом отдыха и развлечений стал дискомфорт движения. Еще 30 лет назад отдых — это покой. Берег моря, пляж, солнце, сидение на одном месте. Отсутствие впечатлений — вот основа и девиз настоящего отдыха. А сейчас толпы неутомимых людей самых разных возрастов, предводительствуемые охрипшими экскурсоводами, обвешанные кино-, фото- и прочей техникой, носятся на автобусах по древним городам. И не сядешь в пятницу в пригородную электричку, штурмуемую молодыми людьми с грузом (рюкзаки, байдарки, гитары, белозубые улыбки, несокрушимая уверенность, что только так стоит жить).

И Александр Твардовский, тонко чувствующий время, пишет: «Я в эту бросился дорогу, я знал, она поможет мне». Откуда эта надежда, почти уверенность? Почему поэты вдруг ощутили покой, как бич, как наказание: «Это почти неподвижности мука мчаться куда-то со скоростью звука», — говорит Леонид Мартынов.

Случилось нечто непостижимое с точки зрения всей предыдущей истории человечества. Распространилась идея, для абсолютного большинства людей, живших до нас, странная и непонятная. Еще в XVIII, да что там, даже в XIX веке понятие человека, мечущегося по земле бесцельно, почти немыслимо. Конечно, люди ездили, но всегда зачем-то, с какой-то целью. Речь идет об

обществе в целом, а не о наиболее динамичной его части, не о тех, кого мы называем великими людьми — путешественниками, поэтами, не о людях, настежь открытых миру со всеми его неоткрытостями.

Всегда, во все времена рождались странные личности, наделенные особой двигательной активностью, стрессоустойчивостью, чьи биографии — сплошная загадка. «Родился, вырос, воспитывался», все как у всех, а дальше деяние, подвиг. Но откуда достало сил выдержать? Как ни вчитывайся в дневниковые записи (если они сохранились), как ни изучай свидетельства современников — все равно неясно.

А сколько безвестных родилось не вовремя, не там, сколько не воплотилось! Сколько (хочется верить) воплотилось, но не оставило о себе письменной памяти! Сколько под влиянием неумолимых обстоятельств превратилось в пиратов, конкистадоров-головорезов. (Интересно, как выглядела бы история Европы, если бы команда Колумба взбунтовалась по-настоящему, повернула каравеллы назад и Америку открыли бы попозже? Новый континент в течение двух веков высасывал из Европы недовольных: авантюристов, неудавшихся военных, честолюбцев, все активное и взрывчатое.) Но о деятелях такого склада нужен особый разговор.

Люди же, обыкновенные люди предпочитали покой.

Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест,
Весьма мучительное свойство,
Немногих добровольный крест.

Вот они, примечательные слова: «немногих добровольный крест». Пушкинский Онегин — странный человек, и ведет он себя странно с точки зрения здравого смысла XIX века, путешествует ни для чего, просто так.

Опять-таки канонические строки: «И вечный бой, покой нам только снится». Дальше у Блока кровь, пыль, степная кобылица. На рубеже двух веков менялось отношение человека к движению. Цикл стихов, откуда взята эта строка, посвящен тому, что происходило на Руси в XIV веке, на поле Куликовом. Интересно, как прочли бы стихи Блока те, о ком они написаны, люди XIV века? Скорей всего они так же, как мы, согласились бы с поэтом, но по-другому: да, вечный бой, дотла разоренная земля, покоя давно не было и нет, покой только снится.

В стихах великого поэта многослойное восприятие пространства и времени: исторические ощущения XIV века (где-то в «Записных книжках» у Блока есть фраза, что ему снилась Куликовская битва) и то, что едва нарождалось в начале века XX, поэт запечатлел его для нас, и то, что существует как универсальный закон жизни человеческой души: «не может сердце жить покоем».

...Идея опасности и нежелательности движения и как противопоставление ей — идея покоя — старая-старая идея. Для древних любое странствие — это испытание и подвиг. Странствует, совершая свои подвиги, Геракл. И он герой. Плывет бог знает где, вокруг Сицилии, как выясняется по новейшим изысканиям, Одиссей и выдерживает то, что не в силах вынести ни один простой человек, только герой. Добровольное движение по земле в течение долгих веков — это жертва, искупление за грехи. Разве не мученик паломник на дорогах, где каждую минуту поджидает опасность?

Движение, вечная неуспокоенность — к тому же и форма возмездия, способ проклятия. На вечное движение обречен «Летучий голландец». И печальный Демон, дух изгнанья, осужден вечно летать над грешною землей. Блуждает по замку Эльсинор дух отца Гамлета в ожидании, когда принц отомстит: тогда дух обретет покой.

Невольно приходит в голову вывод странный и спорный: может быть, ощущения благости покоя и нежелательности движения нашли свое отражение в представлениях о рае и аде?

Чем привлекателен рай? Только ли тем, что там нет ни болезней, ни печалей, ни воздыханий, что «веселие» там норма жизни? В раю ничего не меняется, ничего не происходит. Может быть, в этом все дело? Ад же — вечный вихрь, геенна огненная. Там грешники воют и скрежещут зубами от пожирающего их огня, там гложет их червь, там нет надежды, как пишет Данте, «на смягченье мук или на миг, овеянный покоем». Итак, одна из центральных религиозных идей, если принять эту, может быть, более чем спорную мысль, оказывается тесно связанной с реальной земной жизнью, с обыденными ее обстоятельствами. Будущая жизнь конструировалась отталкиванием от неудобств жизни настоящей.

У Михаила Булгакова в «Мастере и Маргарите» в конце романа к Воланду, сидящему на балюстраде дома, в описании которого мы узнаем дом Пашкова, нынешнюю Ленинскую библиотеку, приходит Левий Матвей, ученик Иешуа Га Ноцри, и передает просьбу учителя взять с собой мастера и наградить покоем: «они заслужили покой». Они заслужили вечный домик под вишнями, музыку Шуберта по вечерам, мастер получит не райское безделье, а странный покой, наполненный сосредоточенным творческим трудом. (Пушкинские неотменные — для каждого творческого человека — покой и воля в другую эпоху в другом, неузнаваемом фантасмагорическом обличье.)

Прошло тридцать с лишним лет с тех пор, как Булгаков закончил свой роман. Речь в нем шла о судьбе творческой личности в мире. Если спросить среднетворческого современного человека, каким ему представляется рай, рай скорее всего смахивал бы на хорошо организованный туристский вояж: ты едешь, удобно расположившись, а за окном все меняется. Ну а ад? Ад — это домик под вишнями, каждый вечер та же музыка, каждый вечер та же Маргарита. Можно ли придумать что-нибудь ужаснее?.. Ад в нынешнем понимании — отсутствие острых впечатлений. Самый легкий способ организации впечатлений — движение: «Я в эту бросился дорогу, я знал...» Застой — вот что сейчас губительно, так нам кажется, для личности.

Скажи москвичу какого-нибудь XVI века, что через пять лет ему придется ехать в Париж или Лондон. Да он от страха бы помер за эти пять лет, от страха ожидания. Он дома хотел жить, за своим забором из кольев двухметровой длины. Забор, дом, огород создавали ему иллюзию безопасности. Теперь представьте современного москвича, которого попросили бы никуда не отлучаться из Москвы в течение пяти лет. Да наш москвич затоскует через месяц. Скорей всего он никуда и не собирался особенно ездить, но он знал: в любую минуту можно сорваться с места.

В послевоенные годы, когда начались психологические исследования личности в условиях одиночества, появился термин: «сенсорный голод», то есть голод чувств из-за отсутствия внешних впечатлений. Исследовалось поведение человека в батискафах, в пещерах, в сурдокамерах — в условиях вынужденного одиноче-

ства. Человека обвешивали датчиками, снимали на кинопленку, неожиданно подавали в камеру устрашающие звуковые программы. И каждый раз после очередного эксперимента, конечно же, собирали богатую научную жатву. Но кроме реляций о ходе жатвы, в научные и уж тем более в научно-популярные статьи прорывалось восхищение: какой героизм, какая выдержка, какое умение владеть собственными эмоциями!

В перспективе прошлой истории человечества наши восторги выглядят довольно забавно: одиночество, в том числе вынужденное одиночество, часто бывало нормой жизни, а не жизненным испытанием. Застревали на островах Белого моря, отправляясь на рыбную ловлю, русские поморы. Зимовали, возвращались домой, если везло. Никто не восхищался.

То, что прежде казалось естественным, современному человеку вынести невмоготу — вот где на самом деле предмет для размышлений, сопоставлений и прогнозов на будущее. Современному человеку просто физиологически необходим гораздо больше, чем в прошлые века, беспрерывный приток свежих впечатлений.

Прежде для человека, вступающего в жизнь, мир заранее выглядел как консервативная система. Вернее, не мир, мир был таким же, по миру можно было бегать, прыгать, плыть, скакать на коне. Это время, как пресс, давило на человека. Это время обладало магической способностью останавливать мир.

Таково было мировоззрение; бытие представлялось устремленным к блаженному покою. В XIX веке мы узнали об окружающем мире неизмеримо много по сравнению со всей предыдущей историей. То, на что осмеливались отдельные личности, на чудо поездки, путешествия (Гёте отправлялся в Италию, как герои Брэдбери отправляются на Марс), стало доступным всем.

Но все дело в том, что перемены настигли нас внезапно. Вдруг. И младшая современница Блока, пережившая бури века, так почувствовала эти перемены:

Бедствие это не знает предела...
Ты, не имея ни духа, ни тела,
Коршуном злобным на мир налетела,
Все исказила и всем овладела —
И ничего не взяла.

Коротенькое стихотворение называется «Скорость». Автор его — Ахматова. Расшифровать смысл этих пяти

строчек не просто, но заманчиво: поэты помимо их воли регистрируют и замечают то, что нам, простым смертным, становится ясным очень и очень не скоро. Первые четыре строчки как будто бы понятны, но что означает пятая, таинственная: «И ничего не взяла»? Тут возможны, мне кажется, три варианта объяснений.

Вариант первый — пессимистический. Скорость все исказила, испортила, сломала. Злобный коршун убивает свои жертвы во имя того, чтобы насытиться. А во имя чего действовала скорость? Ведь она ничего не взяла. Как по Уголовному кодексу тяжелее всего караются преступления безмотивные, так скорость бессмысленно овладела нашей жизнью, и потому ее преступление перед людьми особенно опасно. Она нам ничего не дала взамен. В этом варианте действительно вместо слова «взяла» напрашивается «дала». Но последний глагол пахнет назидательностью и утилитаризмом. Ахматова не могла позволить себе этого слова.

Вариант второй — обманный. Скорость нас просто обманула. Налетела, овладела, мы-то поверили. Но она не взяла нас с собой.

Вариант третий — оптимистический. Скорость — это вихрь. Но вихрь — это быстротечность. Успехи вихря всегда преходящи. Так страсть налетит и пройдет. Пройдет и увлечение скоростью. Хотя вроде бы она все исказила и всем овладела, но ей не удалось победить. Вечные вещи остаются нетленными в век реактивных двигателей и в век газовых фонарей.

Внутренне больше всего хочется, конечно же, принять последний, оптимистический вариант. Сейчас человечество переживает тот исторический момент, когда идет уже не столько овладение, сколько привыкание к новым скоростям. Они нас захватили, закружили; в этом кружении мы что-то теряем с исторической непривычки. И это неудивительно. Даже после езды на велосипеде, как однажды заметил Пришвин, не сразу приходишь в себя и начинаешь понимать жизнь: чем тише едешь, тем больше видишь движение жизни. Сейчас из одной крайности мы как будто бы бросились в другую.

...Так ребенок не в силах отвести новой игрушке скромное место в ряду других, пока не наиграется ею всласть.



Глава девятая

ПАФОС ДИСТАНЦИИ

12 Г. Башкирова

ГДЕ ОНИ, ВЫХОДЫ?

Историческая психология нужна для всех наук о человеке вообще. Это ясно. Чтобы, оглянувшись на наше психологическое прошлое, предвидеть наше психологическое будущее. Это тоже ясно. Словом, это довольно абстрактная наука. И тем не менее все мы, сами о том не подозревая, в той или иной мере, пусть по-дилетантски, но занимаемся исторической психологией.

Все мы, в юности особенно, остро тоскуем по тому неопределенному чувству, которое в начале нашего разговора называли «устройством себя во вселенной». Космический масштаб поисков себя! Как тут обойтись без истории? Если выражаться менее изысканно, чувство это можно, пожалуй, назвать банальными словами — жажда романтики.

Жажда романтики — это когда в нас начинает работать механизм, который можно условно назвать «пафосом дистанции». Это размышления о том, что когда-то и где-то романтика была. А у тебя ее почему-то нет. Тут сразу две дистанции. В пространстве — это где-то, это тяга к новизне, к таинственности, к дальним краям. Во времени... это и есть историческая психология.

...И вот на служебном столе папка — результаты социологического эксперимента, проведенного Сибирским отделением Академии наук СССР вместе с Новосибирским университетом. Это конкурс под девизом «После школы», рассказ о том, как ребята провели первые месяцы после окончания учебы. Это школьные мечты и их первое столкновение с действительностью.

Ответ одной девочки под смешным псевдонимом «Александр Македонский». Она просто переслала социологам свою переписку с приятелем.

«У меня к тебе просьба. Срочно дай совет. Дело вот в чем. Меня всегда живо интересовали такие вопросы. Я и мир. Я и окружающие. Взаимоотношения с людьми.

Видишь ли, я с каждым человеком стараюсь говорить о его интересах. Сам посуди, зачем разглагольствовать о высших материях с человеком, как ты бы сказал, без интеллекта. Конечно, я понимаю, самое ценное в человеке не ум. В жизни главное человечность. Да или нет? Иногда лежу ночью, не сплю и думаю: вот уже семнадцать лет прожила. Так, кажется, много. А ничего хорошего не сделала. И встают передо мной комсомольцы

двадцатых годов. Что бы они обо мне сказали? Что я мещанка, да?»

Следующее письмо, ответ на полученное: «...ты спрашиваешь, перестали ли меня мучить вопросы о житие. Наоборот, они на каждом шагу. Ты знаешь, что я придумала? Решать все сама, все свои проблемы. Решила, но голова все равно пухнет от разных мыслей. Что ждет нас, людей, в будущем? Что ждет меня? Ты ведь знаешь, я сейчас работаю на заводе, через год снова буду поступать в институт. Но не это для меня сейчас важно. Знаешь, мне кажется, я поняла одну истину: неважно, кем я стану, важно — какой».

Еще анкета. Человек тоже не поступил в институт.

«Как жить? Вставать, уходить на работу, возвращаться, есть, спать, смотреть телевизор? Нет, от такой жизни отупеешь.

Из школы мы вышли беспомощными котятами; нам составляли программу, что делать сегодня, завтра, послезавтра. В школе все было так просто и ясно. Вероятно, так бывает всегда, пока не столкнешься с жизнью.

А теперь я без конца думаю: в чем смысл жизни? Как быть? Как разобраться в себе? Все свободное время я читаю книги по истории. Вот уж чего от себя никак не ожидал: ищу исторические примеры. Может быть, это смешно? Не знаю. Меня это самого удивляет, но я пытаюсь понять людей, почему и что они выбирали, почему они часто предпочитали дороги, которые были трудны и кончались плохо».



В своих письмах-диевииках социологам ребята, размышляя о будущем, часто ссылаются иа иаучиую фантастику. Психологически это понятио. Фаитастика — тот жаир, который пытается удачио или не очеиь переиести ромаитику в будущее. Чаще всего иеудачио. Чаще всего это голые маиипуляции с новой техиикой, с иовой иаучиой, и только научной, идеей: как осчастливить, спасти или угробить человечество? Удача книги зависит от малой малости — технической подковаиности автора. Чаще всего это ие литература — попытки околоиаучиого прогиоза. А ведь мы все равно заглатываем их, мы читаем всю фаитастику подряд. Мы ищем! Что? Будущее.

Но когда речь идет о людях, тут уже иеотразимо начииает действовать пафос дистанции.

У братьев Стругацких есть повесть «Трудио быть богом». В этой повести заключеи чисто психологический секрет. Стругацкие построили ее иа двойиом эффекте дистаиции от иастоящего: герой повести благородиый дои Румата из будущего. А действие происходит в прошлом, диком, свииском, страшиом.

В повести совмещеио то, что, собствеиио, и делает каждого из нас иитуитивиым историческим психологом. То, иа что мы все беспрерывно бессозиательио оглядываемся в поисках выхода, — прошлое и будущее.

...Где они, выходы? Как их искать? Выходов тьма. «Открытых выходов есть миожество из тесиой жизии человека», — сказал Валерий Брюсов.

Одии из главиых выходов — может быть, самый главиый в жизии человека — творчество. Любое. Творчество — это призвание, способ самовыражения. Но при этом всегда и еще одио — крайияя точка выхода.

Есть вещи, которые от человека не зависят: способности к творчеству у всех людей разные. Есть геиии, есть люди талаитливые, обладающие к тому же громадным запасом психической эиергии. Есть просто мы, обыкиовенные люди.

Лев Толстой писал чудовищио миого. Стоит посмотреть на полиое академическое собраиие его сочинеиий: девяиосто томов, чериых, огромиых, тяжелых. Представить себе, что это написал одии человек, да еще успел воевать, учить детей, учиться до коица жизии — представить себе это иевозможно. Ои был геиий, утешаем мы себя. Ои был великий художиик. Он не мог не излиться

в гамлетовском понимаиии этого слова. Но было еще одио. Творчество было для него выходом. В поисках виутреннего выхода ои творил беспрерывно, сам с собой иа бумаге решая свои вопросы.

А Лермоитов? Больше чем для кого бы то ни было из русских поэтов творчество было для иего выходом из ситуации, выхода из которой, по существу, иет: политическое удушье после разгрома декабристов, невеселые обстоятельства личиой жизии (военный мундир, неудачная любовь, иепрезеитабельная виешиость).

Львы Толстые и Лермоитовы рождаются крайие редко. А что делать иам? Как утолить естествеииую потребность человека в творчестве?

Все зависит, видимо, от того, что поимать под словом «творчество». Любая работа, если оиа приносит радость, тоже творчество. Состояиие иепрерывиого вдохновения — вот, видимо, самое естествеииое, самое иеобходимое состояиие человека.

Но творчество связано ие только с выиесеиием себя вовие. Это и творчество самого тебя, своего виутреннего мира. Вспомиим письмо: «Мие кажется, я поияла великую истииу: иеважио, кем я стану, важио — какой».

А творчество человеческих отношеиий? В дружбе, в любви? Почему-то люди редко догадываются, что и любовь тоже творчество.

...Каждый из иас играет в обществе бесконечное число ролей. Но ведь можно и по-другому сказать: поскольку для человека немыслима жизнь вие коллектива, че-





ловек — одна из тех мнллиоиов ролей, которые нграет коллектив.

Есть только одно чувство, которое предполагает, что человек встает в глубоко иидивидуальные отношення с коллективом.

Все можио заменить. Чем замеиить любовь?

Говорят — работой.

Говорят — развлечениями.

Говорят — антилюбовью, то есть суррогатамн любвн.

Еслн мы постараемся определнть все, что ие есть любовь, останется любовь.

В одной фантастнческой современной иовелле автор рассказывает: изобретеио средство, с помощью которого людн могут пережить во сне то, что ие пронсходит с нними иаяву. И вот проводнтся соцнологнческнй опрос н выясняется: все хотят увидеть во сие только одио — подлнннную любовь. Не к зиаменитой киноактрнсе, не к красотке с потрясающей фигурой. Все хотят пережнть то, что так легко проворонить в век тороплнвой деловитостн. Все хотят увидеть сны о началах иачал. Их героння — девочка. Девочка не по возрасту, по внутреннему мироощущению: по бесстрашию, по готовности к чуду, по нерастраченной вере в счастье. Сиятся знакомства, первые встречн, радость узнавання чужой души. Любовь превращеиа в сон, полностью отделена от реальности.

Пнсатель строит повествование с точным знаннем пснхологии современного человека, тоскующего о чуде подлнниой любвн и жалеющего иа это чудо временн и душевных сил.

«Все что-то делают...

А разве это не дело — складывать две жнзнн в одну?»

Это Михаил Пришвни. Это из его записных кннжек.

О выходе, о таком, о котором пишет Пришвии (а у него этот выход был; в тех же записных киижках он запнсал: «В моем доме иет гвоздя, которого бы не коснулась рука любимой женщнны»), в юности мечтают все. Сначала мечтают, потом, с годамн, иачниают о ием тосковать.

Почему же так редко это удается? Может быть, потому, что уж слншком сложный вид творчества, слишком много самопожертвоваиня требует ои? «Любовь —

это все дары в костер и всегда задаром», — горько обронила Марина Цветаева.

Боязно вкладывать себя в другого задаром, без гарантии. Но это мастерские по ремонту стиральных машин дают гарантии. Жизнь их не выдает. И потому так боятся люди подлинной любви. Ведь она, ничего не гарантируя, страшно ко многому обязывает! И потому так часто разбивается она о трусость. И потому часто легче придумать возвышенные мотивы и сбежать, чем взяться нести ее бремя.

А потом впереди опустошенность, обида, что жизнь обошла в чем-то главном. А потом тоска. А потом, как выражались в далеком XVIII веке, «сонные мечтания», реализованные мечтой фантаста XX века в псевдореальность истинного переживания.

Человек, обделенный любовью, жаждет пережить ее хотя бы во сне. Человек любящий больше всего боится ее утраты. Вспомним еще раз Пришвина: «И вот ночью представилось мне, что очарование мое кончилось, я больше не люблю. Тогда я увидел, что во мне больше ничего нет, и вся душа моя, как глубокой осенью разорванная земля: скот угнали, поля пустые, где черно, где снежок, а по снежку — следы кошек».

ЛЮДИ МЕНЯЮТСЯ, И МЕНЯЮТСЯ К ЛУЧШЕМУ

Один из самых сильных выходов — искусство. Потому что восприятие искусства — это тоже творчество, сотворчество. «Над вымыслом слезами обольюсь», — сказал Пушкин. Каждый из нас испытал хоть раз справедливость хрестоматийной пушкинской строки.

...Мы сидим в зале театра, кино, мы в особой ситуации, мы выключены из реальности. Мы не должны сами действовать, мы должны только слушать, смотреть, «переживать». Работают только наше воображение, наши психологические установки, наши проекции. Как в проективных тестах, мы невольно примеряем, прикидываем происходящее на сцене, на экране, в книге на себя, на обстоятельства собственной жизни. «Когда зритель верит в то, что происходит, он чувствует в искусстве действительность, жизнь, что-то знакомое, им самим пережитое и испытанное. Это просто, думает он. Это жизнь. И ему приятно: он оказывается тоже художни-

ком, так как понимает и переживает искусство». Это размышления Генриха Нейгауза в книге «Об искусстве фортепьянной игры».

Но мы не только «переживаем». Мы испытываем еще одно чувство. С помощью искусства мы реализуем то, что нам не дано реализовать в жизни.

Одним словом, мы на время «переселяемся» в других людей и становимся другими. И искусство, подлинное, высокое искусство, судит не только героя и его жизнь. Оно судит, оправдывает и нас тоже, оно приобщает нас к бедам и горестям всего человечества.

В шестнадцать лет мы мечемся в поисках неслыханного, небывалого, того, что когда-то ведь было — было, но ушло. Или еще только будет. А тут нам показывают жизнь — значит, нас самих, поскольку мы тоже люди. И жизнь эта наполнена высоким смыслом, и она была, и она продолжается, и она будет.

Со времен древних, со времен Аристотеля момент наивысшего эстетического переживания называют катарсисом. Это момент взлета, очищения души.

Настоящее искусство требует от человека многого. Оно переворачивает душу. Но зато в нем есть величайшее благо: часто оно подсказывает реальный выход. Не выход — уход, а выход как принятие решений о своей собственной жизни.

...Конечно же, бывают выходы-уходы и проще и легче. Начинаются они обычно так. Получил двойку, кинул дневник в портфель, бросил портфель в угол, пошел играть в футбол. Или просто гулять на улицу. Или зашел к ребятам, завели магнитофон. Или взяли гитару, сели во дворе на лавочку, запели. И поют каждый вечер.

В чем психологически выражается этот выход? Может быть, в поиске дистанции? Только дистанции на короткое расстояние. Историческая психология на каждый день. Но прежде всего тут отождествление себя с каким-то человеком, проигрыш какой-то ситуации, которой еще не было, но хорошо бы, чтобы случилась.

Сидение на лавочке с гитарой — несколько утрированная форма поисков самого себя, своего места в жизни. Не стоит относиться к этому ритуалу со снисходительным пренебрежением. Это не только дань возрасту и моде, но и тому отношению к мелодии и песне, которое нашло широкое распространение в XX веке.

Песня — тоже один из вариантов выхода. Хорошая песня тоже момент взлета, очищения души. Для объяснения нашего всеобщего песенного увлечения пригодится, как ни странно, историческая психология.

Первой ощутила мощь песни Великая французская революция. «Марсельеза» победно маршировала по дорогам Европы. Революция опиралась на мелодию и слово. Легкий отзвук XVIII столетия возродился в век XX. Произошел как бы перескок через рациональный XIX век, охваченный, по выражению Маркса, «ледяной волной эгоистического расчета». «Ледяная волна» поглотила песню во имя трезвости. XX век возродил песню во имя высоких идеалов. По кусочкам вкладывали себя в это новое возрождение безымянные поэты времен гражданской войны. Незабываемые песни принесла Великая Отечественная война.

Песен сейчас, в том числе и так называемых самодеятельных, великое множество. Сотни, тысячи. Свои песни у каждого института, каждый уважающий себя факультет норовит вырастить собственного барда. Песни эти быстро и легко умирают. Рождаются новые однодневки. Однодневки поют ребята, сидя на лавочках. Но не только однодневки. Остается постоянный фонд.

И снова придется звать на помощь историческую психологию. Есть две точки зрения на историческую психологию. Точка зрения первая: такой науки нет и не может быть, потому что нет и не может быть у нее прямых предметов наблюдения и исследования. Вторая точка зрения: реконструкция возможна.

Каково же прикладное значение исторической психологии с этих двух точек зрения?

Первая точка зрения: «Чем больше это меняется, тем больше остается тем же самым», — говорят французы. «Наша неизменность» — удобный способ оправдать или осудить современного человека. Вторая точка зрения утешительна: человек меняется, и меняется к лучшему.

В прошлом мы выбираем себе модели, которые влияют и на наш образ мыслей, и на наши поступки.

И вот мы слушаем — в который раз!

Мы ехали шагом,
Мы мчались в боях...

О чем поется в этой песне? О том времени, о котором грезят в шестнадцать лет, об идее справедливости,

ради которой лилось в те годы столько крови. И до чего поразительно совпадают интонации писем социологам с интонацией этой песни: жажда возвышенного, поиск в прошлом, тоска, что прошлое прошло без нас.

Сам того не подозревая, Светлов — сторонник второй точки зрения. Он искал в прошлом (для него очень недавнем) идеальные корни хорошего, которые прочно проросли в нашей душе. И мы, как завещание, ощущаем добрую веру поэта: «люди меняются, и меняются к лучшему».



Глава десятая

ТРИ ВЕДЬМЫ

Начиналось все сугубо драматично. Меня поймала гадалка. В Москве, на станции метро, настоящая гадалка, в шали, в юбке цветной. Наговорила много, поразив современным подходом: ничего не пророчила, только предупреждала. Может, у тебя все будет в жизни так, может, иначе, зависит от того-то. Мне предлагалось действовать; действовать не хотелось.

И вместо того чтобы действовать, пришлось заняться интроспекцией — самонаблюдением. Следующим за интроспекцией шагом было штудирование научной проблемы: откуда в нас потребность в предвидении будущего и почему в связи с этим гаданье — столь живучая вещь?

Совпадают ли карточные прогнозы с отдельной человеческой судьбой? Какое это имеет значение! Ведь главное-то совпадает: он, она, верность, разлука, счастье, несчастье. Ведь это-то есть у каждого! Карты — это роман, линия судьбы, картотека всех ситуаций, которые возможны в романе. Жизнь каждого человека — тоже роман, только незаписанный. Каждому интересно (и страшно!) узнать сюжет романа, написанного только про него.

Прогнозирование будущего — это то, о чем мечтали люди с древнейших времен и о чем будут мечтать вечно.

Прогноз — это гаданье древних на внутренностях животных. Мираж, иллюзия, но прогноз. И в него верили. Прогноз — это случайное совпадение на картах. Тоже мираж. И тоже вера. Прогноз — это три ведьмы в «Макбете» у Шекспира.

Целые институты заняты сейчас предсказанием «горячих» точек в науке и технике: куда целесообразнее в ближайшее время бросить силы ученых, общества. Широко разрабатываются и проблемы психологических последствий прогноза: меняется ли что-то в поведении исследователя, коллектива в ходе эксперимента, когда предсказан результат. Ибо всякий прогноз (даже самый невинный, карточный) может действовать двояко: либо укрепить и усилить веру в предсказанное, либо снять ее. Прогнозирование — увлекательное направление социологических и психологических исследований.

Для нашего же рассказа важное еще и потому, что

дает богатейшую почву для размышлений о том, как меняется в веках психология человека.

По мере роста цивилизации возникает как будто бы все меньше обыденных ситуаций, где стоит прогнозировать. Я не гадаю, ехать или не ехать на симпозиум в Тбилиси: ведь я уже не боюсь, что в горах перевернется возок, что черкесы нападут. Я не гадаю, стоит ли есть репу 30 апреля, как настоятельно советует «Изборник» XI века. Я не гадаю даже о том, о чем гадали в конце XIX века: «В настоящее время русский народ гадает об урожае, погоде и замужестве, изредка о смерти» (словарь «Брокгауз и Эфрон», 1892 год издания).

Теперь вроде бы и гадать стало не о чем. И так все ясно. Человек вышел из дому — вернется. Уехал в командировку — тоже, вероятней всего, вернется. Есть ли репу 20 апреля? — мы и так ее не едим. Выпить ли от простуды перед уходом из дому в холодный ноябрьский день стакан девясильного вина, то есть водки, настоянной на целебном корне девясиле? Чего гадать, нету вина девясильного. Выпить вообще нельзя, работать надо. А простужусь — антибиотиками вылечат.

Но вот совсем недавняя ситуация: война, эвакуация, вечер, коптилка на столе, уйма бытовых неустроенностей. Женщина, выпавшая из цивилизации. И вот — платок на плечах, карты разложены на столе. Что, она верит в гаданье? Нет, конечно. Но... «Все единожды потрясенные души легко склоняются к суевериям», — это заметил еще Тацит.

...Я помню деревянный флигель где-то в районе Земляного вала. Предпоследний год войны. Маленькую, худосочную особу привели (или принесли?) в гости, посадили в продавленное кресло и забыли; старухи занялись гаданьем, задавая картам вопросы, которые задавали друг другу все: когда кончится война и вернется ли с войны муж, сын, брат. Седая, стриженая, в очках что-то записывала, кто-то плакал, кто-то топил «буржуйку». Картины глядели со стен отчужденно-высокомерно.

Война окончилась, и еще какое-то время, пока надеялись, убитые не убиты, пока верили, вернутся пропавшие без вести, продолжали втихомолку гадать, пересказывать сны. В Москве в двери часто звонили беженцы, пили обжигающий кипяток, рассказывали свою жизнь. Прошло несколько лет. Поток беженцев, беспри-

ютных людей, сорванных войной, постепенно иссякал. Жнзнь стабилнзировалась. Мера неясностн, непрогнозируемостн будущего резко упала.

«Бытне определяет сознанне»: суеверням снова не осталось места в жизнн. Цнвнлнзацня вступнла в свон права.

* * *

Мысленно сделаем шаг на триста лет назад. А еслн еще на тысячу лет? На две?

Что зналн о мнре древние? Онн жнли почти в полном дефнцнте ннформацнн о мнре. Онн жнлн во властн нллюзнй. Онн выдумывали мнр, чтобы восполннть отсутствне информацин. Именно в этом смысле употреблено здесь слово «нллюзня». (Может быть, психическое развитие человека во временн заключается в мере его освобождения от нллюзнй?)

И потому гаданье — совершенно особая психологическая проблема для древнего мнра: его назначенне, как сказалн бы мы теперь, в уменьшеннн энтропни в языке событий. Плнннй ворчал иа стеснительные законы гаданья: онн, по его мненню, не давалн жить спокойно! Человек научного склада ума, он был вправе раздражаться, что родился ие вовремя, что его удел только предполагать, прозревать, гадать. Ему хотелось быть исследователем. Время, в которое он жил, делало его угадчнком.

...Потребность в той нлн иной степени прогноза, ви-



димо, особым образом связана со свойствами личности. Те, кто в стародавние времена предпочитал покой и оседлость, не очень нуждались в прогнозе. Если, разумеется, жили в спокойные эпохи. Трудно представить себе, что афиняне времен Сократа и Алкивиада были равнодушны к прогнозу: а вдруг спартанцы нападут, а вдруг персы, а вдруг ветер разметает по морю эскадру, готовую к далекому плаванию?

Но в годы относительного благополучия не так-то и нужен был прогноз среднему обывателю — и в античном мире, и в средние века. Был налаженный, отработанный, предельно ритуализированный быт, была уверенность: завтра будет то же, что сегодня, была кровать, на которой рожала и бабка и прабабка, был порог дома, о который спотыкались поколения детей — были якоря, за них держалась и ими в какой-то мере прогнозировалась жизнь.

Только беспокойные, стрессоустойчивые, как мы их назвали, люди испытывали острую необходимость в прогнозе — по понятиям древнего мира, в пророчествах и предсказаниях. Ведь им, этим людям, хотелось не просто жить. Им хотелось действовать. Значит, предвидеть последствия своих действий, предвидеть будущее.

Но и тут не было и не могло быть однозначности. Очень по-разному во все времена относились люди к дефициту информации о мире.

Одна из самых колоритных фигур в этом плане — Юлий Цезарь. Он не верил в гаданье. «Никакие суеверия не могли заставить его отложить намеченное предприятие, — пишет Светоний. — Он не отложил выступления против Сципиона и Юбы из-за того, что при жертвоприношении животное вырвалось у него из рук. Даже когда он оступился, сходя с корабля, то обратил это в хорошее предзнаменование, воскликнув: «Ты в моих руках, Африка!»

«Он дошел до такой заносчивости, что, когда гадатель однажды возвестил о несчастном будущем — зарезанное животное оказалось без сердца, то заявил: «Все будет хорошо, коли я пожелаю, а в том, что у скотины нету сердца, ничего удивительного нет». Больше того, иногда он сам осмеливался — слыханное ли дело! — выступить в роли предсказателя. Он часто повторял, что, если с ним что-нибудь случится, государство постигнут огромные несчастья.

Почему приметы, гаданья потеряли для него характер знака, предупреждения, лишились не общепринятого смысла, а смысла вообще?

«Рок головы ищет», — говорит через двадцать веков (!) Платон Каратаев Пьеру Безухову. Цезарь не желал подставлять свою голову року. Иначе рухнула бы, по-видимому, вся система его ценностей, иначе исчез бы психологический феномен, вошедший в историю под кодом Юлий Цезарь.

...Разбор биографии Цезаря по Светонию — наглядный пример того, как едва нарождающаяся историческая психология по намекам, отдельным фразам может реставрировать не только общие закономерности, но даже черточки характера давно ушедших людей.

«УЧАСТЬ МОЯ РЕШЕНА. Я ЖЕНЮСЬ»

Почему людей во все времена так тянуло узнать свое будущее? (Пример Цезаря вовсе не означает, что прогноз был ему безразличен, он наверняка был ему необходим, как всякому человеку, но еще больше нужно было ощущение того, что будущее формирует не таинственное нечто извне, а он сам, его воля, страсть, ум.)

И тут появляется прозаическое объяснение, не так давно выдвинутое наукой. Потребность в прогнозе — свойство всего живого, она заложена в нас на физиологическом уровне. Она необходимое требование эволюции. Каждого, кто не умел прогнозировать, эволюция безжалостно отсекала. Вероятностное прогнозирование (так называется одно из самых плодотворных направлений современной психофизиологии) — это работа мозга, в которой мы не отдаем себе отчета. Прежде чем действовать, мы без конца строим модели мира. Как протянуть руку, чтобы достать нужный предмет, как наступить ногой, чтобы не споткнуться, как перейти улицу? Это простейшие модели. Но есть модели и посложнее.

В современной жизни как будто бы все меньше ситуаций, где стоит прогнозировать ближайшее будущее: в самом деле, ушел на работу, вернется. Это так, конечно. А неприятность, а болезнь, да мало ли что! От утра к вечеру так же, как и тысячу лет назад, мы

движемся на ощупь, как бы с палочкой. Стоит ли после этого удивляться нашей жажде узнать будущее: она так естественна!

Впереди у каждого из нас, особенно в ранней молодости, свои, если использовать карточную терминологию, расклады карт, свои наборы сюжетов.

Конечно, когда мы прогнозируем жизнь, мы опираемся на тот набор сюжетов, который нам дан. Мы живем в определенном историческом времени, в определенном обществе. Сколько ни мечтай в двенадцать лет о стивенсоновском острове сокровищ, мечта не сбудется: давно умер последний пират. Сколько ни готовь себя к роли великого путешественника, все равно им не станешь: давно открыто все на Земле.

Означает ли это, что, подрастая, человек не должен примерять на себя сюжеты, которые волновали воображение поколений живших до него людей? И вот тут оказывается, что детские мечты и сухой прогноз взрослого человека неуловимо связаны между собой.

В детстве мы примеряем на себя великое множество масок. Мы еще ничего собой не представляем, и тем легче вообразить себя кем угодно. Говоря языком науки, слишком много у нас степеней свободы, наш потенциал слишком велик и слишком далек от реализации. Почему бы не стать пиратом, мушкетером, Суворовым, Пушкиным, Эйнштейном? Главное — захотеть!

Но вот начинается юность. Более четко вырисовывается этот самый потенциал. Трудно уже вообразить себя Пушкиным и Суворовым. Великим авиаконструктором легче. И великим хирургом тоже. Ушло в прошлое необозримое море степеней свободы. Зато яснее видны оставшиеся. Их тоже, если сравнивать со всей предстоящей жизнью, много. Кто знает, кем я буду! Может, всю жизнь буду проектировать одну-единственную деталь в самолете, а может, действительно стану знаменитым авиаконструктором. Но это будет следствием и реализацией того, что я воображал о себе в юности. Главное случилось: «дефицит информации» был восполнен. О будущем, обо мне самом, о том, кем я стану, о том, что я смогу.

...Воздушные замки нашего детства и юности обладают великой силой. Если бы не они, никто бы никогда не стал не только Эйнштейном, а просто хорошим учителем физики. Это они, столь несправедливо и психоло-

гическн безграмотио осменваемые воздушные замкн, дают иам заряд иа всю жнзнь (заметьте, иад юношескими мечтамн нронизируют обычно только те, кого придавили развалины рухнувших замков, хотя вроде бы, как однажды заметил Д. Даннн, от воздушных замков развалин не остается).

Истнниое вступлеиие в жнзнь, с точки зреиня соотношения мечты и прогиоза, — это время, когда человек осознает, какне реальные пути перед ним открыты. Когда он научается взвешнвать н оценивать свое место в обществе, свон знаиия, талаиты, волю. Но чтобы знать, что же он хочет, ои должен в детстве и ранней юностн страшно много пережить, проиграть в себе, иафаитазнровать.

Только после этого наступнт время сознательного выбора. И тогда уже ннкакие прогиозы родствеиииков и друзей ие собьют с дороги. (Яд псевдопрогиозов, который влнвают в юные уши близкие, действует подчас не меиее разрушнтельно, чем знамеиитые средневековые яды.) Только после этого мы перестаем ждать, что все прекрасное в этом мире должно само собой свалнться иам иа голову. Только после этого, сделав первый выбор, мы иачииаем действовать.

Спустя годы, зрелым человеком понимаешь, что любой выбор сделать мучительно трудио. Не потому, что ие зиаешь, как поступить. И ие потому, что не хочешь. Или слишком хочешь. И не потому, что гложет сомиение: ие исполиилось то, что должно было исполиться





непременно. Даже если исполнилось все задуманное и сверх задуманного, время от времени нас охватывает неопределенное грустное чувство тоски по несбывшемуся. Каждый из нас испытывал его хоть однажды в жизни. Это всеобщее человеческое состояние.

В подоплеке его лежат, по-видимому, фундаментальные законы жизнедеятельности, которые только-только начинают приоткрываться науке. Несколько десятилетий назад это направление работ называли «физиологией активности», сейчас все чаще говорят о «психологии активности».

Работы эти утверждают: активность живого существа возрастает при ситуации некоторой неопределенности. То есть мы чувствуем себя тем лучше, чем больше расходуем энергии на преодоление неясной ситуации, полная определенность атрофирует жизненную активность. Это уровень психофизиологических рассуждений, сверхсовременный, подтверждаемый серией красивых экспериментов.

Анализируя эти проблемы на уровне философском, мы приходим к вечному вопросу о свободе воли. Психофизиология и философия хорошо дополняют друг друга.

Полная свобода в выборе — нелегкое состояние: трудно сделать конкретный выбор, если можно сделать любой. Придется просчитывать варианты и остановиться на том, который, с твоей точки зрения, хорош. Но дать прогноз самому себе — это своими руками лишить себя дальнейших выборов, это утратить драгоценное чувство неопределенности. Отсутствие вариантов, пожалуй, еще хуже. В сущности, ты уже только катишься по рельсам, проложенным вовсе не тобой. В XIX веке это называлось «слепая покорность судьбе».

...У Пушкина есть небольшой отрывок: «Участь моя решена. Я женюсь...» Герой его сделал предложение девушке, «с которой встреча казалась мне блаженством». Два года он мечтал об этой минуте, «ожидание решительного ответа было самым болезненным чувством жизни моей». «Дело в том, — читаем мы дальше поразительную по непонятности в связи со всем вышесказанным фразу, — что я боялся не одного отказа. Один из моих приятелей говаривал: «Не понимаю, каким образом можно свататься, если знаешь наверное, что не будет отказа».

Вот он, вечный парадокс: человек счастлив, он до-

бился того, чего хотел, и... ему страшно. Вовсе не потому, что очень скоро священник произнесет «невозвратимые слова». (Так написал позднее Пушкин в «Дубровском».) Его пугает не невозвратимость таинства брака, он к ней стремится. Его пугает завершенность, окончательность будущей жизни. (В представлении человека XIX века куда большая, чем в нашем, нынешнем.)

Отзвук пушкинской фразы, видимо не случайный, находим у замечательного знатока эпохи Тынянова. Его роман «Смерть Вазир Мухтара» начинается так: «Еще ничего не было решено». У Пушкина герой принимает решение и страшится своего выбора. У Тынянова его герой — Александр Сергеевич Грибоедов — утешает себя тем, что еще ничего не решено, тогда как на самом деле все не просто решено, все предрешено. Его судьба литератора окончена, его загоняют в угол, ему суждено вскоре исчезнуть в буквальном смысле этого слова: в Тегеране после резни найдут чей-то труп, приложат к нему руку со знакомым перстнем, и получится Грибоедов, великий писатель, вечная гордость России.

Два крайних психических состояния, счастливо-отчаянное и обреченно-самоутешительное. И оба трудны. Перед одним героем, вымышленным, хотя пушкинский отрывок считается автобиографическим, есть выборы. У другого выборов не было, и он смутно догадывается об этом.

...Сюжеты, психологические коллизии первой трети XIX века. Как меняется содержание всех этих проблем на протяжении истории? Как соседствует в психике человека вечное и преходящее?

О ЧЕМ НАПИСАН «МАКБЕТ»?

Есть специальная научная проблема — сюжетология, проблема «первоэлемента», то есть поиск первоначальных простейших единиц, из которых строится повествование. Это не психология, конечно, это уже поэтика. Но для нашего рассказа это попытка через другую науку ответить на вопросы, волнующие исторического психолога. Ведь изучают же сейчас Гомера в надежде реконструировать внутренний мир человека его эпохи.

(Попытка эта целесообразна и вот с какой точки

зреиия. Наш опыт изучения литературы как предмета коичается в школе. В школе мы усваиваем прочио и иавсегда: жизиь, иаука и литература взаимосвязаиы в рамках одной науки — литературоведеиия. На уроках литературы иам преподают иачатки литературоведеиия.

Нам говорят: есть образы, есть темы, есть сюжет и композиция. Когда иам говорят о событиях, вызвавших к жизии то или иное произведеиие, рассказывают об авторе, иемиожко добавляют о прототипах. Сводятся все эти связи с жизиью к классическому примеру из Льва Толстого: «Я взял Соию, перетолок с Таией. Получилась Наташа» (Ростова).

Вроде бы литература, вроде бы иаука, вроде бы жизиь. На самом деле ни то, ии другое, ии третье. Ведь иам же, когда мы уходим из школы и иапрочь забываем, что такое литературоведеиие, иам все это совершеиио иеважио! Нам важио совсем другое. Нам важио ощущеиие, что все прочитаииое имеет иепосредствеииое отиошеиие к иашей собствеииой жизии.

...Одиим из первых еще в коице прошлого века заиялся вопросом сюжетологии академик Алексаидр Николаевич Веселовский. Ои искал в веках, во времеии «простейшую повествовательиую едииицу, образио ответившую иа разные запросы первобытиого ума или бытового иаблюдеиия». Ои задался проблемой, дозволеио ли в области литературиых сюжетов «поставить вопрос о типических схемах... схемах, передававшихся в ряду поколеиий как готовые формулы, способиые оживиться иовым иастроеиием, вызвать иовообразоваиия? Совремеииая повествовательиая литература с ее сложиой сюжетиостью и фотографическим воспроизведеиием действительиости, по-видимому, устраияет самую возможиость подобиого вопроса, ио когда для будущих поколеиий оиа очутится в такой же далекой перспективе, как для иас древиость, от доисторической до средиевековой, когда сиитез времеии, этого великого упростителя, пройдя по сложиости явлеиий, сократит их до величииы точек, уходящих вглубь, их лииии сольются с теми, которые открываются иам теперь, когда мы оглянемся иа далекое поэтическое творчество, — и явлеиия схематизма и повторяемости водворятся иа всем протяжеиии».

...Сейчас иас иитересует сюжет, связаииый с прогио-

зом. Вот он оброс плотью и кровью. Вот легли рядом любовь, предательство, смерть.

Веселовский одним из первых в мировой поэтике заговорил о явлении повторяемости сюжетов на протяжении истории развития литературы.

Вот Лесков, вот русская провинция, вот женщина, совершившая преступление, — «Леди Макбет Мценского уезда».

Вот японский фильм на ту же тему. Очень страшный.

Вот стихи, где та же ситуация, убийство, вот поэт Николай Ушаков:

Леди Макбет,
где патроны,
где револьвер боевой?
Не по честному закону
поступили
вы со мной.
То не бор в воротах,
леди, —
не хочу таиться я,
то за нами,
леди,
едет
конная милиция.

И еще стихи, звучавшие как заклинание, стихи человека, погибшего в Отечественную войну, Бориса Лапина, в них есть образ, взятый из «Макбета»:

Учись не помнить черных глаз,
Учись не ждать небес,
Тогда ты встретишь смертный час,
Как свой Бирнамский лес.

И наконец, есть еще скандальная пьеса, которая долго шла на Бродвее, и власти сочли, что самое благоразумное не вмешиваться, сделать вид, что они ничего не поняли. Потому что пьеса эта называлась «Леди Макбэрд». (Леди Бэрд — имя жены Линдона Джонсона, который стал президентом, когда убили Джона Кеннеди.)

О чем эта пьеса, шедшая на Бродвее? Может, вовсе не о судьбе женщины по имени леди Бэрд, жены человека по имени Линдон Джонсон, ставшего президентом после того, как убили человека по имени Джон Кеннеди?

Помните, о чем там у Шекспира? Вы помните, что

нет, не леди Макбэрд, а леди Макбет никак не могла отмыть от крови руки и все мыла и мыла их по ночам, смущая своего придворного лекаря? Ее муж до этого был вовсе не вице-президентом, но почти вице-королем, одним из первых вельмож страны.

Помните, что там было дальше? По наущению Макбета был убит полководец Банко. И вот Макбет, король, входит и видит, что на его троне сидит призрак убитого Банко.

Когда Макбет понимает, что это всего лишь призрак, он продолжает действовать, бороться за власть. (Ведь короли не уходят в отставку.) У человека по имени Линдон Джонсон нервы оказались слабее, чем у человека по имени Макбет. Потому что, когда перед ним со всех экранов телевизоров, с первых полос газет начали мелькать призраки (лицо брата Джона Кеннеди — Роберта, так на него похожего), он не выдержал, снял свою кандидатуру и не участвовал в предвыборных игрищах.

У Джонсона сдали нервы — так считали многие американцы, — он выпал из игры. Хотя как будто бы никогда в игре и не участвовал. Были другие люди, которые это делали. Были еще и люди, которые убивали. Они убили второго брата.

Все это к вопросу о жизни сюжетов в историческом времени, об аналогах, которые могут быть у великой литературы. «Макбет» — аналог действительности. И именно поэтому как бы «первоэлемент» (в нашем рассказе) для более поздних произведений искусства. «Макбет» спустя два века страшными зеркалами отразился в опере Шостаковича «Катерина Измайлова».

...Несколько лет назад, после многолетнего перерыва в Московском театре оперы и балета имени Станиславского — премьера «Катерины Измайловой». Овации, без конца вызывают Шостаковича. Он выходит на сцену, как всегда неловко пятясь назад и странным образом продвигаясь вперед. Выходит, смущается, кланяется нам, потрясенным макбетовскими зеркалами. Это остается в памяти надолго: высвечиваются вдруг связи, скрытые в быстротекущей суете будней, — Шекспир, Лесков, Шостакович.

...Но сейчас нас интересует прогноз, то есть три ведьмы в «Макбете» у Шекспира. Первая ведьма говорит Макбету то, что есть:

«Да славится Макбет, Гламисский таи!»
Вторая ведьма то, что скоро случится:
«Да славится Макбет, Кавдорский таи!»
Третья то, чему суждеио произойти:
«Да славится Макбет, король грядущий!»

Шекспир, пользуясь современным языком, совершает операцию условиого перехода: он делает то же самое, что и в «Гамлете» с призраком отравленного короля. Он вводит в действие ведьм, веря или не веря в возможность их реального существования — это для него неважно, — а дальше, когда условный переход совершен, развертывается глубоко реалистическая трагедия.

«Макбет» — это трагедия того, что происходит с человеком, когда он думает, что знает будущее. Что же бывает с человеком, когда ему предсказана цель? Хорошо ли это? Первый прогноз, данный Макбету («Да славится Кавдорский таи!»), сбывается благодаря его личному мужеству: он победил в битве.

Значит, механизм предсказания работает. Можно ли удержаться, чтобы не поторопить его, не подтолкнуть? Человек начинает приближать достижение предсказанной цели. Иногда это хорошо. Иногда безразлично. Иногда пагубно: человек начинает считать, что все средства хороши...

В этой пьесе поставлена проблема этическая. С точки зрения современной психологии в ней есть и проблема научная: изменится ли поведение человека, если оно прогнозировано? Макбет неправильно прочел прогноз. Один за другим прогнозы сбывались, один за другим гибли вокруг него люди: прогноз этот позволял убивать. Макбет чувствовал себя все более защищенным.

А почему?

Он неправильно декодировал прогноз. Ему было предсказано:

Лей кровь и попирай людской закон.
Макбет для тех, кто женщиной рожден,
Неуязвим.

И еще:

Будь смел, как лев. Да не вселят смятенье
В тебя ни заговор, ни возмущенье:
Пока на Дунсинанский холм в поход
Бирнамский лес деревья не пошлет,
Макбет несокрушим.

Но пошел на него в поход оживший Бирнамский лес. И это был не лес, а полки шотландцев, прикрывшиеся ветвями, срубленными в Бирнамском лесу. И был Макбет убит человеком, произведенным на свет, естественно, женщиной. (Убийца появился на свет с помощью кесарева сечения — значит, не так, как все.) Макбет гибнет, недоумевая, почему же его подвел прогноз.

...Жизнь человеческая строится на ситуациях двоякого рода. Есть класс ситуаций, когда мы твердо знаем, как поступить, и стараемся сделать это хорошо.

Ситуации другого рода — ситуации Макбета. Можно поступить так, можно иначе. Можно не предать. Можно незаметно отступить. Ситуация выбора. Да, но почему же это ситуация Макбета? Ведь ведьмы не оставили Макбету выбора. Они сказали: будет так, так и так. Лей кровь, пожалуйста, сколько хочешь. Макбет поверил и начал действовать. А прогноз его обманул.

Но кто его заставлял верить искусительницам-ведьмам?

Трагедия Макбета не в том, что он поверил, а в том, как он начал действовать. Трагедия Макбета в том, что он начал вкладывать в прогноз свое. Можно брать свое из природы, из того, чем она тебя наделила. (Кто сказал, что прогноз неверен, кто сказал, что Макбет не мог стать королем без крови и убийств, в силу подлинных своих заслуг?) Макбет вкладывает в природу свое, своих выращенных в душе ведьм, и воображает, будто это природа, будто это они ему говорят.

Ну хорошо. А о чем все-таки написан «Макбет»? Об убийстве Джона Фицджеральда Кеннеди? Наверное, нет. О Катерине Измайловой, героине Лескова? О каком-то давно умершем шотландце?

Наверное, «Макбет» написан о любви, о крови, о власти, о сильных и слабых людях. Поэтому леди Макбет могла жить в Мценском уезде. Потому что там были любовь, искушение, грех. Это была уголовная трагедия. Поэтому жил в Америке и был убит Джон Фицджеральд Кеннеди. Потому что там власть, месть, честолюбие, угроза, страх. Это была политическая трагедия.

«Макбет» написан о том, чем в изобилии полна человеческая жизнь. Это так. Но самое главное, пьеса

иаписаиа о Макбете, о давио погибшем шотландце. Если бы все повествование ие было завязаио через острый сюжет, через леди, любящую своего мужа и готовую ради иего иа любое преступлеиие, все бы рассыпалось.

Получились бы игральиые карты. Коиспект.

Не Шекспир. Средневековая гадалка.

...И все-таки для иас, людей XX века, «Макбет» иаписаи еще об одиом (иитересио, что увидят в нем люди XXI столетия?). В «Макбете» Шекспир задумался иад вопросом, что будет с человеком, с людьми, его окружающими, если дать человеку прогиоз поведеиия.

Пусть все будет. Пусть иаучатся давать прогиоз. Точиый иаучиый прогиоз. Пусть электроиио-вычислительиые машины стаиут сочиият музыку почище Баха, и будущий Геирих Нейгауз в будущей киите «Об искусстве фортепьяииой игры» иикогда больше ие воскликиет: «Когда я играю Баха, я в гармоиии с миром, я благословляю его!»

Пусть мы, люди, стаием засыпать иа электрических матрацах, и оии будут укачивать иас в ритме биотоков иашего мозга. Пусть робот железиой рукой будет зашиуровывать иам ботиики, а другой тут же массировать лысиiу. Пусть, освобождая себя от любви, бессоиницы, ярости, мы будем глотать психофармакологические таблетки.

Пусть ЭВМ стаиут предсказывать, кому иа ком стоит жеииться. Вот уж поистиие точиый иаучиый прогиоз, прошедший длительиую эволюцию. Сиачала древиие крутили иа ниточках решето: иа ком остаиовится, тот виноват; потом в России с этой же целью — иайти вора — крутили рещето на пальце; потом решето преобразовалось в «бутылочку». Бутылочку тоже иужио было крутить, иа ком оиа остаиовится, тому с той целоваться. И вот игра в «бутылочку» превратилась в игру в электрониую сваху: электроииое решето просеивает кандидатуры жеиихов и иевест. И сорок румяиых холостяков пляшут без памяти от радости: «Я хочу иа ней жеииться». И сорок докторов всяких иаук, очевидно жеиатых и потому смело теоретизирующих, ликуют: «Ближиий результат электроииых прогиозов прекрасеи».

А что будет дальше, вы ие подумали? Вас это ие волиует?

«Помилуйте, — обижаются сорок умиых докторов

наук, — мы ведь только знакомить хотим, могут жениться, могут не жениться».

Откуда такая беспечность в решении чужих судеб? Откуда, наконец, такая вопиющая психологическая безграмотность? Когда людей знакомят с определенной целью, прогноз тем самым превращают в проект. Ведь это же яснее ясного.

Но пусть, пусть тешатся беспечные доктора наук в свободное от работы время! Пусть мечтают фантасты!

В одном из фантастических рассказов действует портсигар, предсказатель будущего. Он провалился к нам из будущего во временную щель. Человек спрашивает его обо всем. Портсигар бесчувственным голосом вещает своему владельцу: «Ты поступишь неплохо, если сделаешь то-то». Он может спросить, и портсигар, к примеру, ответит: как проехать на Пушкинскую площадь и идти ли сегодня вечером в гости, поступать ли в университет и что для этого сделать. Жениться или не жениться, если тебе 22 года. Портсигар выкидывает цифры: процент разводов, вступивших в брак в 22 года, такой-то. Лучше в 25 лет. А что будет в 25? И так далее. Портсигар выкидывает корреляции.

Представьте себе, что будет, если когда-нибудь появится подобный «портсигар» — не внутренности жертвенных животных, не цыганка с замусоленной колодой карт, а нечто информированное, беспристрастное, лукавое в своей беспристрастности.

Что будет? Будет плохо!

Человек освободит себя или ему покажется, что он освободился, от главного — от выбора. Величайшего достижения и тягчайшего бремени, которое и делает нас людьми. Самое смешное, что все равно придется выбирать. Главное всегда надо решать самому. Странно думать, что, подстраховавшись со всех сторон, запасшись электронными аргументами, обессилив себя ими, отучив себя от необходимости ответственности, человек обретет счастье. Проблема Макбета, проблема выбора остается навсегда. Ибо без выбора нет личности.

И тут выявляется детски наивная истина. Беззащитная в своей наивности. Конечный критерий любого прогноза всего один — вот тут как раз никакого выбора нет! Идти к цели можно только путями чести и добра.

Пусть, пусть тешатся доктора наук! Но гений, та самая совесть человечества, всегда задается детским вопросом, который можно было сформулировать так: не что будет, а что будет, **если**... То есть зачем это будет, станет ли людям от этого лучше. Так Гераклит сказал задолго до Шекспира: «Не лучше было бы людям, если бы все их желания исполнялись». Любое желание может сбыться, но средства достижения могут необратимо деформировать цель.

СНОВА ОТ АВТОРА

Итак, мы подошли к концу. Мы коснулись некоторых проблем современной психологии. Мы узнали: современная психология уже очень многое может. Множество нужных, замечательных вещей. Но она уже может и другое.

И стресс, и средства массовой коммуникации, и тесты... Нет, это не всегда помощь. При желании — большое зло.

...В одной зарубежной армии есть такой тест. Призывникам показывают фильм. Машина с солдатами мчится по шоссе, машина спешит на боевое задание, на шоссе играет девочка. Вопрос: что следует делать? Пожертвовать машиной, пустить ее в кювет или пожертвовать девочкой? Правильный ответ: пожертвовать девочкой, ведь машина спешит на боевое задание.

Это тест? Тест! Кинотест. А если таких тестов — кино и не кино — целые батареи? Психология это уже может — довести человека до состояния здорового идиотизма. Она может играть на желаниях и страстях людей, на особенностях человеческой психики.

Затрубила труба стрессов. Начался переход. Началась молодость. Человек бежит по зеленой траве с автоматом в руках. Кругом рикошетируют пули. Человек радостно смеется: он знает, он победитель, он знает, противник жалок и ничтожен. Человек этот молод, здоров, бессмертен! Разве это не выход? Разве это не романтика? А если человека еще заранее обучили, если ему показывали разные фильмы и спрашивали, в сущности, только об одном: чем жертвовать — девочкой или родиной, хотя родина при этом не пострадает. Что за вопрос! Конечно, девочкой! Все желания исполнились. Человек бежит по зеленой траве. Он счастлив, и не догадывается, что он — это уже не он, что его сделали, слепили таким, какой он нужен...

Исполнение желаний — страшная вещь, если навстречу им как будто бы идет современная психология во всеоружии своего технического аппарата.

А казалось бы, исполнение желаний такая законная вещь. Даже чокаясь, мы говорим друг другу в хорошую минуту: «Исполнение желаний». Но еще Гераклит две тысячи лет назад сказал: «Не лучше было бы людям, если бы все их желания исполнялись».

В XIX веке среди нас, людей, жил маленький, презираемый, осмеянный человек. Он любил духовую музыку и, когда мимо его дома проходил военный оркестр, не мог удержаться, пристраивался рядом, шел, слушал и наслаждался. После смерти его зачислили в сонм великих людей. Этот любитель духовой музыки великий утопист Шарль Фурье заметил как-то, что человеческие желания связаны, к сожалению, с профессией. Стекольщик хочет, чтобы было побольше разбитых стекол, архитектор мечтает о приличном землетрясении, врач — о массовых эпидемиях. В течение многих столетий общество было устроено так, что исполнение всех желаний подряд могло принести только беду.

Разве от этого легко избавиться? Разве можно всех людей научить тому, чтобы все их темные желания в одну сказочную минуту превратились в светлые, все низкие страсти в высокие?

...Но какое отношение имеет тема исполнения желаний к теме этой книги, к науке психологии? Мы мечтаем, чтобы психология помогла нам осуществить наши желания, мы мечтаем, чтобы она помогла определить возможности, заложенные в нас природой. Мы мечтаем о гармонии наших желаний и наших возможностей.

Под силу это современной психологии? В полную меру — нет. Мечтают ли об этом психологи? Конечно. Весь ленинградский эксперимент как раз об этом, — о началах новой науки, психодиагностики и психогигиены.



Есть учителя. Они нас учат. Их много.

Есть доктора. Они нас лечат. Их тоже много.

Есть служба учебы и служба здоровья.

А может быть, человеку нужна и «служба личности»? «Служба личности», помогающая «исполнению желаний».

Для того чтоб «служба личности» стала благом, требуются огромные по своим масштабам научные исследования. Что ж, со временем они будут проведены. Но ведь человек меняется от знаний, тем более знаний о самом себе. Как повлияют на нас знания о собственной природе, о законах нашего поведения? Можем ли мы это предвидеть заранее?

Когда дело касается вмешательства в живую человеческую душу, неизбежно возникает цепная реакция проблем. И от них никуда не деться. Ведь наука нейтральна. Не нейтральны мы, люди. И мы обязаны отдавать себе отчет в том, что от себя не уйти и к себе не прийти даже с помощью самой сверхсовременной науки.

Проблема выбора, проблема Макбета, остается всегда.

Где же выход?

Может быть, он начинается в каждом из нас в ту минуту, когда мы первый раз пытаемся сообразовывать свои поступки с желаниями других людей? Первый раз — сознательно. Не потому, что нас так научили. В силу внутренней потребности. Потому что чье-то чужое желание становится для нас дороже, чем свое. В тот момент, когда человек понимает, насколько это больно и трудно, но все-таки выполнимо, все в порядке. Он понял самое важное. Он понял, как бесконечно драгоценен и в то же время непрочен и хрупок другой человек, как страшно задеть его собственным равнодушием, непониманием, эгоизмом. Он понял, что исполнение желаний только для себя — вещь, саморазрушающая душу.

Наука психология еще очень мало знает.

Наука психология уже очень многое может.

Она не может и не обязана одного — решать за нас наши проблемы.

Главное всегда придется решать самому...

ОГЛАВЛЕНИЕ

Башкирова Галина Борисовна
НАЕДИНЕ С СОБОЙ.

Редактор **Л. Антонюк**
Художественный редактор **А. Косаргин**
Технические редакторы **Г. Каплан, Н. Носова**
Корректор **В. Назарова**

Подписано к печати с матриц 5/III 1975 г. А01229. Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага № 2. Печ. л. 6,5 (усл. 10,92). Уч.-изд. л. 11. Тираж 100 000 экз.
Цена 48 коп. Т. П. 1975 г., № 100. Зак. 486.

Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

48 коп.



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

МОСКВА, 1975

ГАЛИНА БОРИСОВНА БАШКИРОВА

Автор этой книги — историк по образованию, журналист по профессии. Свою профессиональную жизнь Галина Борисовна начинала в «Литературной газете», где печатались ее первые репортажи, статьи, очерки.

Человек и становление его духовного мира, парадоксы нашей психики, эмоциональное осмысление того нового, что несет с собой научно-техническая революция, нравственные аспекты науки — вот круг вопросов, волнующих молодого литератора.